

екатерина марголис



следы на воде

Екатерина Марголис

**Следы на воде**

«Издательство Ивана Лимбаха»

2015

УДК 821.161.1-3«20»  
ББК 84.3(2=411.2)6-4

**Марголис Е. Л.**

Следы на воде / Е. Л. Марголис — «Издательство Ивана Лимбаха», 2015

ISBN 978-5-89059-233-0

В автобиографической книге Екатерины Марголис «Следы на воде» Венеция выходит за пределы своих границ: трещины на ее стенах становятся переплетением человеческих судеб; ее мосты соединяют землю и небо, тот свет и этот; кружа по ее улицам, можно забрести в церковь, где одновременно служат две литургии – католическую и православную; лагуна незаметно переходит в заснеженное поле; воздушные шарики в руках детей у базилики Санта-Мария-делла-Салюте превращаются в надутые перчатки-«ежики» на постели мальчика Лёвы, умирающего от рака в московской больнице. Повествование движется любовью – страстью и состраданием, верностью и верой, счастьем присутствия и памятью утраты, покаянием и прощением, откровением красоты и красотой Откровения. В книге представлены живопись, графика, фотографии, типографические композиции и объектные инсталляции автора

УДК 821.161.1-3«20»

ББК 84.3(2=411.2)6-4

ISBN 978-5-89059-233-0

© Марголис Е. Л., 2015

© Издательство Ивана Лимбаха, 2015

# Содержание

Часть первая	10
Глава первая	11
Глава вторая	13
Глава третья	23
Глава четвертая	39
Часть вторая	45
Глава первая	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# Екатерина Марголис

## Следы на воде

Эта книга написана за четыре года, а на самом деле писалась более двадцати лет. И сейчас мне хочется прежде всего поблагодарить всех, имеющих прямое отношение к этому повествованию. Некоторые имена слегка изменены, но все обстоятельства и совпадения не случайны: вы были и есть в моей жизни и памяти. Всем, без кого эта книга немислима, бережно помогавшим спускать корабль на воду, я хочу сказать спасибо.

Спасибо моему теперь уже родному городу Венеции – за ежедневную красоту, вдохновение и встречи. Спасибо человеку, подарившему мне этот город однажды и навсегда.

Спасибо Леониду Белоцерковскому за глубокое понимание искусства и продолжение лучших традиций русского меценатства, благодаря которым рукопись смогла стать той книгой, которую вы держите в руках.

Спасибо Витторио Страде, одному из первых читателей этой книги, чья поддержка и одобрение были мне очень важны. Отдельное сердечное спасибо Игорю Сахновскому за вдумчивое внимание и действенное сочувствие. Спасибо Полине Барсковой, Ире Гачичеладзе, Олегу Дорману, Маргарите Живовой, Наталье Кантонистовой, Бахыту Кенжееву, Алле Кинчиковой, Алле Клотц, Марии Коковкиной, Анастасии Константиновой, Анне Ландман, Лиде Мониаве, Юрию Норштейну, Ольге Седаковой, Роксане Софроницкой, Ирине Оскольской, Людмиле Улицкой, Михаилу Шишкину, а также всем первым читателям и критикам книги, отрывки из которой публиковались на страницах фейсбука: ваше равнодушие вдохнуло жизнь в эти страницы. Спасибо Андрею Зализняку – другу, многолетнему корреспонденту и выдающемуся ученому, из бесед и переписки с которым начала расти эта книга. И наконец, бесконечная благодарность Марии Степановой, без которой эта работа едва ли увидела бы свет и чья поддержка, совет и неустанное присутствие словом, мыслью и чувством не давали мне падать духом на последних страницах этой книги.

Не только первыми страницами, но многими последующими я обязана своей семье. Спасибо моей бабушке Марине Густавовне Шторх (Шпет) за щедро открытые двери, ведущие в тот мир преемственности и традиции, где нет второстепенного и незначительного. Спасибо моей любимой младшей сестре Анне Марголис за понимание, сочувствие и за отважно протоптанную дорожку туда, куда и я с детства мечтала попасть. Спасибо моему папе, Леониду Марголису, за все, чему я от него научилась, в том числе и в словесности. Спасибо моим старшим дочерям – Роксане и Саше – за терпение, поддержку и за то, что вы есть рядом со мной.

Я посвящаю эту книгу моей маме, Наталье Рудановской. У меня едва ли найдутся слова благодарности, которые были бы ей по росту и которые могли бы выразить то, что нас связывает и что знаем только мы.

*Моей маме*

*Ты значил все в моей судьбе.  
Борис Пастернак*

## Викрам Сет

### В МАЛЕНЬКОМ САДИКЕ В ВЕНЕЦИИ

Ты с девочками вернешься через неделю  
С ваших долгих русских каникул – и я,  
Не сумевший толком этим распорядиться, буду обязан  
«Освободить гнездо». Сегодня я проверяю,  
удалось ли выжить  
Здесьней флоре, порученной мне столь опрометчиво.  
Я сижу за большим деревянным столом, убедившись:  
она в порядке.  
Потом подхожу к увитой лозою стене и пробую виноград.  
Что бы еще могли здесь помять мои беспокойные пальцы:  
Розмарин? лаванду? или эти листья томата,  
В то время как вслед за их тенью карабкается повыше  
юркий геккон?  
Здесьняя жизнь – звенящие звуки посуды,  
Шорох шагов, приглушенное радио; Большой канал  
С его плеском волны в парапет и рыком моторов —  
где-то совсем далеко.  
Несколько аборигенов покидают свои пещеры.  
Гнездо утопает  
В зелени. Кобальтовый небосвод. Ряды глупых гераней  
Обозначают границы владений, но не выходят  
За камень стены с желтой ее штукатуркой.  
Здесь только я и дом с жалюзи (словно играем в жмурки).  
Но все же я тут не один. В маленькой темной комнатке,  
Где прямо за дверью лишь стол да узкая койка  
(Круто! круто!), на полке – словно иконы,  
озаренные синим  
Светом лампад, – пара овальных портретов  
(Черно-белых гравюр). На одном из них Пушкин.  
Он, никогда не выезжавший из России и уж тем более  
Не бродивший по этому прекрасному городу,  
Ныне дома везде. Он – все те, кто знает его наизусть,  
Он – это я, кто, пусть и не в силах читать по-русски,  
Чувствует сердцем каждое слово. И меня бы не было здесь,  
Если б не Пушкин. Он дал мне меня...  
Солнце, высовываясь из-за шпалеры, делит стол пополам.  
Мой мобильный горячий, как головня,  
Так что не прикоснуться; а что до содержимого головы, —  
Какие мысли способны выжить, к примеру,  
в кипящей кастрюле?  
Тороплюсь в дом и, упав на кушетку, вытягиваюсь в рост,  
Руки расслаблены. Пушкин критически смотрит на то,

Сколь вял и беспомощен может быть вкрутую  
сваренный мозг.  
Часы негромко шуршат, на круглой их физиономии —  
«IV» (часа).  
Но на своей кровати я тяну лишь на I (единицу).  
Глаза слипаются. Море, взрывая вдали, резвится.  
Нагоняя страху, адриатический шторм  
Взбалтывает моря – от Черного до Балтийского.  
Тибр кишит акулами; акватория Санкт-Петербурга  
Покрыта хлопьями пены, взбитой косяками угря,  
в то время как  
Двенадцатиметровые шуки патрульных лодок снуют  
В Большом канале, норовя опрокинуть гондолы, явно желая  
Поужинать сладкими парочками, что попадают  
по дороге.  
Я курсирую на своей скромной посудине, полной цветов,  
От берега до плавучего дома и снова обратно, —  
Напевая, чтоб дать облегченье грустным сердцам моряков,  
Потерявших в пасти морских чудовищ многих друзей,  
Сгинувших в осетровой мути и угревой пене.  
На волнах качаются венки хризантем – символ агонии  
Множества одиночеств (оставшихся в лодках ли,  
на берегу) —  
Всех тех, чьих любовников более нет. Но далее не могу...  
Тут я вдруг обнаруживаю, что сам еще здесь и жив  
(Хотя, конечно, был бы рад обрести покой  
Где-нибудь в этом мире), что вновь брожу  
Среди влажной зелени, лишённой теней;  
Солнце сейчас завернуто в промасленную облачную бумагу  
Над маленьким садом, где геккон так упорно лезет  
на свою стену.  
...Всегда возвращайтесь туда, где вас любили, к теплому звуку  
Ложечки в чайном фарфоре, к приветливым голосам.  
Представляю, как здесь, под этой увитой плетью стеной,  
Ты наливаешь в стаканы мне и друзьям (кстати, оба поэты)  
Свежевыжатый, без добавления сахара сок винограда.  
Они улыбаются мне и пьют, молча кивая друг другу.  
Геккон также помалкивает, видимо, берет с них пример.  
Они уже высказались, что пришли в этот мир – говорить...  
Я снова один, машинально перебираю раковины,  
Извлеченные из лагуны, – их общий подарок —  
Все, что осталось мне в придачу к воспоминаньям.  
Песочные часы ведут подсчет уходящих мгновений.  
Изготовленный руками хрупкий памятник времени.

*Перевод с английского Андрея Олеара*

**Екатерина Марголис**

**НА ОБРАТНОМ ПУТИ**

Ты прав. На нашем циферблате  
(лице часов) отмечено «IV» (четыре),  
а не обычная четверка «I» (единиц).

Так время против стрелки  
отсчитывает буквы именам,  
из обихода выпавшим.  
Увы. Ни первому лицу, ни даже четверым  
угнаться не под силу за вторым.

Те «Ты» ушли.  
А этих больше нет.  
Куда спешить?  
Тик-так. Замедли бег.

Глянь, виноград созрел.  
Зеленая калитка  
закрыта в мир иной.  
И стены отражают  
игру лучей в канале.  
Тени тают,  
и постепенно  
блекнет образ «Ты»  
на плоском горизонте.

Сизый город,  
на прежний лад родного языка  
настроив было трубы пароходов,  
теряется за их немой громадой.  
Так при отплытии рвутся нити дружб.  
Так Я без Ты.  
Так единицы без глазниц  
Таращатся в бескрайний текст лагуны.

Чей черед – не спрашивай.  
*Quem mihi, quem tibi – scire nefas.*  
Местоимение заменит безымянность.  
И первому лицу давно пора оставить  
пустые притязанья на вторые:  
ибо твои пути не есть мои.  
*Spes longa est ed vita sometimes brevis:*  
*Carpe diem, мой друг, vina liques.*

Пусть будет так, пока в моей гостиной  
часы с «IV» (четверкой) будут шелестеть  
слова любви в развернутом порядке.

Тут всякий жив.

Тут подлинник не тронут.

Тут рифма и размер сохранены.

Тут всякая строка читается с конца  
к той самой первой и заглавной букве.

Тут жили-были, тут в начале было...

В начале было имя для всего.

И ты плывешь назад, к началу своего.

*Авторский перевод с английского*

## **Часть первая**

### **На полях дней**

Поле – одна из форм материи, характеризующая все точки пространства и времени и поэтому обладающая бесконечным числом степеней свободы.

## Глава первая

### Лингвистические задачи

Даны слова:

<i>Буква</i>	<i>Слово</i>
<i>Одно слово</i>	<i>Два слова</i>
<i>Словосочетание</i>	<i>Сочетание слов</i>
<i>Итальянский</i>	<i>Русский</i>
<i>Глагол</i>	<i>Существительное</i>
<i>Двадцатитрехбуквенный</i>	<i>Двадцатичетырехбуквенный</i>

Дети! Слова в первой колонке – обычные. Слова во второй – особенные. У них есть одно общее свойство. Ваша задача понять – какое. Если что-то будет непонятно, оставляйте пробелы, но не останавливайтесь.

За окном уже почти весна. Слова летают в воздухе, прочерчивая целые строки. Дети скрипят карандашами. Среди них девочка-подросток лет пятнадцати. Время от времени она поднимает голову, смотрит в окно и грызет карандаш. Даны слова на незнакомом языке и их переводы на родной, найдите соответствия, знать ничего не надо, только думать, пытаться уловить внутренние переключки смысла и формы, вот тут и вот тут... А вот еще знакомое: «Когда человек умирает, изменяются его портреты» – Ахматова. Интересно, это правда? А когда человек умирает? ты знаешь? я – нет. Какая весна на московских улицах! Нет, не весна еще – только ее обещание. Оттепель уже была, это мы знаем, но весна так и не наступила. Разве что пражская, 68-го, которая закончилась душным августом с танками. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь? Нас с тобой еще и на свете не было. А ты знал, что слово «оттепель» придумал Эренбург. В «Огоньке» только что вышла статья. Да что там Эренбург! «Доктора Живаго» напечатали. «Архипелаг Гулаг»! Неужели правда весна? Трудно поверить. А мы такие зимы знали, вжились в такие холода. О чем это я думаю. Оттепель, весна. Итальянский, русский. Существительное, глагол. В чем же тут штука? Слово–буква. Однослово – два слова. Какой белый лист. Когда падает солнце, становится еще белее. Белое на белом. На листе оставляйте поля. Жизнь прожить – не поле перейти.

Мой лист – это поле. Белое поле в снегу. Тогда оно занимало почти всю страницу.

*Tabula rasa.*

Поле начиналось сразу за калиткой. На горизонте обозначались верхушки сосен и маковка церкви. Там, в трех соснах, был похоронен поэт. А в его доме жили девочка и мальчик.

Что я знала о тебе тогда? Мне просто нравилось смотреть на твое поле. Ты на той стороне, я – на этой. В отголоске электрички я ловлю все, что случится потом, но уже сейчас так и тянет перейти через это поле.

От калитки дома до сияющей среди сосен маковки.

Выходить одним за ворота нам не разрешали. Девочка подолгу стояла у калитки, вглядывалась в поле, словно выманивая свою судьбу из белого листа за воротами. Посетители музея привыкли к этой фигурке у зеленого забора. Собственно, и музея как такового в доме поэта тогда не было. Было нечто полуподпольное, приходили люди. Много людей, много лиц. Много слов, голосов, споров, разговоров. Вскоре, года в четыре, кроме силуэтов и лиц, стали понемногу проявляться и буквы. Потом слова. Они оставляли следы на белой странице и снова терялись в белом поле. Потом потянулись строчки. Наподобие заборов вдоль писательского поселка. И вот однажды среди черных веток и просветов между ними удалось разобрать:

По той же дороге чрез эту же местность  
шло несколько ангелов в гуще толпы.  
Незримыми делала их бестелесность,  
но шаг оставлял отпечаток стопы.

## Глава вторая

### Первые страницы

Мой самый первый лист – пододеяльник. Просто пододеяльник. В углу пришита метка. Это мой адрес. Как на письме. А еще там, наверное, есть мое имя Хенія. Так хотел назвать меня отец. Но мама сказала, что это имя значит «чужестранка», и назвали меня по-другому. Я еще не умею читать, но мне нравятся черные буквы и цифры. Чтобы попасть к пришитой метке, нужно проехать через горы (колени) и долины, подняться вверх по ребрам, по проталинам шеи, взобраться на подбородок, а оттуда на кончик носа... Мой пододеяльник – это и письмо, и карта, и ландшафт. Иногда его стирают и вешают сохнуть на балконе. И тогда он становится парусом. Он надувается на ветру и наполняется белым светом.

До моих двух лет жили в коммуналке в Брюсовском переулке, – ее я помню смутно. Длинный темный коридор и прямоугольник белого света. Он вливался в дом вместе со звоном колоколов. У входной двери звонил телефон, а из противоположного конца – колокола. И вот, еще до больницы, бежишь, бежишь изо всех сил к раскрытой двери и оказываешься на балконе. Прямо перед тобой купола соседней церкви, и тебя подхватывает колокольный звон. Впрочем, взрослые хором утверждают, что в 1970-е годы в Советском Союзе колокола звонить не могли. Было запрещено. Но я-то точно помню, звонили! И этот льющийся свет.

Еще раньше был белый потолок. Мой лист – это потолок. В нем были трещины. Если тебе три года и ты лежишь месяцами, глядя в потолок, то не нужно рисовать – можно просто разглядывать трещины: рыцарей, ангелов с кастрюльками, плачущего мальчика, от которого убежали и коза, и жираф, которых его послала пасти мама – смотрительница замка. Глядеть на потолок куда интереснее, чем слушать жалостливые вздохи бабушкиных подруг: ах, бедная девочка, как же так. В три года сломать позвоночник... Ну надо же как повезло – если бы шейные, то конец. А если ниже – то паралич на всю жизнь.

Боже мой, когда же они уйдут?

Оставьте мне мой потолок.

Перелом позвоночника оказался и впрямь переломным: с этого мига девочка помнит себя собой, уже подряд, без провалов.

Она не выносила, когда ее жалели. Ничего ужасного девочка в своем горизонтальном положении не видела. Жить это не мешало. Не мешало играть и думать.

Мой лист – белая крыша. Я пока не могу ходить, но зато ко мне в гости приходит воробей.

У меня есть лопатка, и я могу копать ею снег на крыше, лежа в спальном мешке.

В больнице было куда хуже. Там не было трещин на потолке, не было мамы и почти все было белое. Коричневым запомнился только взрослый шестилетний мальчик. У него даже имя было коричневое – Сережа. Сережа проглотил значок. Он очень этим гордился. Оно и понятно: проглотить значок – это по-мужски, не то что сесть верхом на перекладину шведской стенки, закричать «Бабушка, смотри, я на лошадке!», а очнуться в больнице со сломанными позвонками. Цветными были картинки и стихи. Но надо было ждать, чтобы тебе их прочли. Букв еще не было. А пока тянулся длинный белесый день, и только где-то с краешку было немного стихов.

– Старая лестница,  
Что ж ты не спишь?  
Что ты все время  
Скрипишь и скрипишь?

– Милый мой мальчик,

Когда же мне  
Спать?  
Надо людей  
Провожать  
И встречать.  
Чтоб не устали,  
Чтоб не упали,  
Надо перила  
Им подавать.

– Старая лестница,  
Но, между прочим,  
Люди не ходят  
По лестницам  
Ночью.  
Так почему ж ты  
Ночами  
Не спишь?

– А по ночам, —  
Ты поверь мне,  
Малыш, —  
То тяжелы,  
То легки,  
Словно дым,  
Сны сюда входят  
Один за другим.  
Тихо под ними  
Ступени поют...  
Слышишь, мой мальчик?  
Они уже тут.

*Ирина Пивоварова*

Потом потолок обвалился. Дом был старый. Балки прогнили. Перекрытия рухнули. Мы жили на верхнем этаже и чудом остались живы. Примчались исполкомовские начальники, поднялся переполох, и на годы мы остались без дома.

А накануне был детский праздник. Пахло елкой и мандаринами. Пахло так, как будто никакой советской власти не было и быть не могло. Как будто белый снег не заносил братские могилы, как будто в одной из них не лежали смерзшиеся кости нашего расстрелянного прадеда-философа Густава Густавовича Шпета, как будто белый флаг не развевался над человеческими судьбами и судьбами целых семей и народов, как будто по ночам не стучали печатные машинки и не печатали на папиросной бумаге самиздат, как будто белый кефир не разливался по серому подземному переходу, как будто каждый шаг вне дома не был пропитан враньем и позором. Как будто улица Горького и впрямь была Тверской, как ее называла бабушка. И это тоже было ее ответом на то, что даже полвека спустя вместить невозможно.

Исполком. Потолком.

Слова. Они имели смысл и цену. За них можно было и угодить. Семья Поэта, приходившаяся и нам родными, щедро предложила пережить трудные времена на его даче. Сами они жили там только летом, а мы отныне круглый год. Вода на улице. Уборная – тоже. Теле-

фона, само собой, не было. Рубили дрова. Носили воду. Топили печку. Варили кашу. Родители ездили на работу в университет и обратно. За нами приглядывала бабушка.

Там все и началось.

*По той же дороге, чрез эту же местность...*

Мы росли на полях стихов к роману. Большой дом поэта стоял среди сугробов, как корабль, готовый к отплытию. Имя поэта мало затрагивало детскую жизнь – более того, с детским снобизмом мы полагали до поры до времени, что все носятся с ним просто потому, что он папа нашего дяди, а нам почти родственник, что-то вроде дедушки. Что до паломников, так это его добрые знакомые – старички и старушки. Скукоженную, кутавшуюся в шаль молитвенно называли «Надежда Яковлевна» и добавляли вполголоса «Мандельштам»; бородатого с палкой шепотом – Копелев; про горбоносую говорили, что она сестра Цветаевой, которую детское воображение рисовало как цветочную фею – одну из разноцветных куколок из конфетных оберток, которые так ловко скручивала для нас после чая ее подруга – Софья Исааковна. Фигурки всё множились на столе, а потом от едва заметного дуновения начинали кружиться в вальсе по клеенке с яблоками. Шел снег или падали листья. А роман и поэт были пейзажем за окном. Физическим пространством детства.

В доме жили и другие стихи. Пушкин, прежде всего.

Вечер. Трещит натопленная печь. А мама или бабушка читает, словно про нас:

И вот уже трещат морозы  
И серебрятся средь полей...  
Читатель ждет уж рифмы «розы»,  
На вот, бери ее скорей...

И невольно тянешь руки, чтобы поймать, как мячик.

...Огонь опять горит – то яркий свет льет,  
То тлеет медленно – а я пред ним читаю  
Иль думы долгие в душе моей питаю.  
И забываю мир – и в сладкой тишине  
Я сладко усыплен моим воображеньем,  
И пробуждается поэзия во мне:  
Душа стесняется лирическим волненьем,  
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,  
Излиться наконец свободным проявленьем —  
И тут ко мне идет незримый рой гостей,  
Знакомцы давние, плоды мечты моей.  
И мысли в голове волнуются в отваге,  
И рифмы легкие навстречу им бегут,  
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,  
Минута – и стихи свободно потекут.  
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,  
Но чу! – матросы вдруг кидаются, – ползут  
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны;  
Громада двинулась и рассекает волны.

Плывет. Куда ж нам плыть?

.....

Стихи были всюду. Они ходили по улицам. Однажды они появились на нашей аллее в образе черной шляпки с широкими полями. Шляпка остановилась и разговорилась с нами прямо через забор.

– Вы кто, дети? Эльфы?

– Нет, мы брат и сестра.

– А сколько вам лет?

– Шесть и пять.

– А что вы делаете?

– Сейчас играем в бобров, а до этого слушали пластинку «Индукá».

(Так мы называли пластинку со стихами Вадима Левина «Глупая лошадь»: на строчках «миссис и мистер Бокли достали из сундука» пластинка застревала и часами повторяла: индука-индука-индука, пока кто-то из взрослых не приходил сдвинуть иглу проигрывателя. После обеда нам полагалось лежать тихо, и часто мы подолгу слушали исключительно – индука.)

– Как интересно. Что это за пластинка?

Дама явно была не осведомлена в детских пластинках, а мы принялись безбожно врать, призывая на помощь весь свой небогатый подмосковный кругозор:

– Нам эту пластинку привезла мама... из Нью-Йорка, – бодро отрапортовала я (Нью-Йорк для меня, да и для всех нас тогда был точным синонимом луны).

– Да, из Нью-Йорка, – подхватил брат и смело добавил: – Она купила ее в Нью-Йорке на улице... Горького!

На большее нашей фантазии не хватило. В городе мы бывали редко, и улица Горького звучало так же волшебю, как Нью-Йорк. Врала мы долго и вдохновенно. Дама пришла в неимоверный восторг. Она, казалось, буквально впитывала каждое слово и вбирала в себя всю нашу небывальщину.

Потом заторопилась, попрощалась и пообещала пригласить на день рождения дочери. Через несколько дней вечером, лежа в кроватях, мы услышали разговор родителей между собой:

– Знаешь, – говорил папа маме, – мне Тамара Владимировна рассказала, что встретила тут на днях в Литфонде Ахмадулину, и та сказала, что познакомилась с удивительными детьми-эльфами. Уже пишет стихотворение «Эльфы». Как выяснилось, это наши дети...

Нам бы обрадоваться, но мы испугались. Еще бы – мы не сомневались, что нам сейчас изрядно влетит от родителей за все ту лапшу, которую мы навешали на уши наивной, доверчивой тетеньке в шляпке.

На день рождения нас действительно позвали. Мы сопротивлялись, родители недоумевали, но делать было нечего. По дороге заехали в «Культтовары» на станции и купили набор «Маленькая хозяйюшка» – клеенчатый фартук, игрушечную скалку и поварешку. Когда мы вручили подарок Беллиной дочке, то вместо «спасибо» она мрачно изрекла: «Седьмой». Мы были седьмыми дарителями «Маленькой хозяйюшки». Что, впрочем, при тогдашнем дефиците не удивительно. И разочарование семилетней девочки, получившей седьмой одинаковый подарок, тоже можно понять. А вот старшая дочь Беллы нам обрадовалась. Была ласкова, играла, развлекала малышей, устраивала викторины, раздавала призы и конфеты. В тот вечер Белла знакомила нас со всеми гостями и представляла не иначе как эльфами. Но волшебной запомнилась она сама.

Мы больше не виделись.

По улице моей который год  
звучат шаги – мои друзья уходят.  
Друзей моих медлительный уход

той темноте за окнами угоден.  
Запущены моих друзей дела,  
нет в их домах ни музыки, ни пенья,  
и лишь, как прежде, девочки Дега  
голубенькие оправляют перья.

Дворянское детство кончилась внезапно. Дали «трешку» в блочном доме. Началась многоэтажная Москва и школа. В школу пошла как во вражеский лагерь. Это нельзя говорить. Это тоже. Осторожнее. Осторожнее. Не подвести бы маму с папой.

Однажды в 3-й «Б» вошла райкомовская дама, чтобы отобрать лучших учеников, которых в качестве поощрения собиралась принять в пионеры в «первую смену». Девочка Хепія примчалась домой в слезах: «Я не буду вступать в пионеры». Мама растерялась – сама же этому и учила, но жить-то надо. Это становилось слишком опасно. Вечером с работы пришел папа. Попытался выяснить логически: «Почему? Это же пустая формальность – красный галстук и все такое...»

– Не буду. Как я могу произнести слова «торжественного обещания», что я буду любить коммунистическую партию и Ленина?! Вы же сами говорили, что Ленин – убийца...

– Ну, любви никто не требует. Это просто слова. Они давно уже ничего не значат.

– А что тогда значит, если не слова?.. (с девятилетней запальчивостью).

Убеждали. Объясняли, что с такой крошкой разбираться никто не станет, что неприятности свалятся на взрослых. Папу в лучшем случае выгонят с работы (беспартийный и к тому же еврей!), а что будет делать семья? Чем кормить детей? Взывали к ответственности за маленькую Анечку. Это был точный ход. Ради сестры Хепія готова была на многое. Главное событие ее детской жизни. Ее первенец. Просыпалась по многу раз за ночь и подходила к кровати: дышит ли? После рождения Анечки мама ушла с работы: ездить в археологические экспедиции она больше не могла, а дух советских контор был ей невыносим. Работал в семье только папа. К вечеру сговорились на сомнительном компромиссе: Хепія не будет произносить слова, а будет просто открывать рот в такт со всеми... Так появились красный галстук и чувство предательства.

Брат, не вникая особо в суть пионерской драмы, немедленно почувствовал в красном галстуке ахиллесову пяту старшей сестрицы и не уставал дразнить ее пионеркой. Завязывалась потасовка, и мама, дабы пресечь рукоприкладство, разводила детей по разным комнатам. Но этим дело не кончилось.

Продолжение разыгралось через месяц в школьной уборной, куда девочки дружными стайками ходили подтягивать вечно сползающие колготки.

Хепія этого места избегала – и по его неэстетичности, и из нелюбви к коллективным интимностям. Дожидалась начала урока и отпрашивалась в случае необходимости. Или же бежала в самом конце большой перемены, когда остальные девочки уже впархивали стайками в классы. Вот и сейчас она осторожно зашла в уборную, но неожиданно столкнулась там со своей тезкой и одноклассницей, тихой девочкой с задней парты, которая, казалось, дожидалась именно ее. Та заговорила первая жаркой скороговоркой:

– Я учусь плохо, и меня будут принимать в пионеры в последнюю очередь, но я собираюсь отказаться. Я верующая. Я чувствую, что ты думаешь так же, как и я, что ты не хотела, что тебе пришлось. Я решила тебе сказать.

Хепія молчит. В голове пронесется: осторожно, осторожно, это может быть провокация...

– Ты можешь мне не верить, – продолжала девочка, словно читая ее мысли, – но ты увидишь, что так оно и будет.

Да уж, действительно нелегко. Сначала бесконечные летучки, собрания, где все учителя сбивались в стаю и дружно клевали маленькую девочку. Потом бойкот класса, науськанного новой классной руководительницей.

– Хеня Лурье тут? – эта крыса зачем-то вызывала ее в учительскую посреди урока французского.

О эти пустые школьные коридоры и холодок под языком. В учительскую ее отродясь не вызывали, да еще во время урока. Что случилось? В учительской не было ни души. Рьяная любительница сериала про Штирлица сажает девочку за стол напротив себя и направляет ей в лицо лампу.

– Сейчас ты будешь отвечать на мои вопросы. Ты дружишь с Х.?

– Да.

– Ты знаешь, что она не пионерка, и ее поддерживаешь?

– Она моя подруга. (Боже, как страшно, как колотится сердце, только бы случайно не выдать кого-то, не навредить, не предать...)

– Ты была у нее дома?

– Да.

– Ты видела там иконы? А сама она носит крест?

– Э-э-э-э... что-то не припомню.

(Дом был завешан иконами. Крестик был. Старинный, серебряный.)

– Так я тебе и поверила. А книги, изданные за рубежом, у них есть?

– Какие такие книги? Наши школьные, по французскому про медвежонка?

Рикики и Рудуду?

(А это удачная находка! Как будто она и в самом деле не знает, что такое тамиздат.)

– Хватит паясничать. А что вы делали, о чем говорили?

– Мы... э-э-э-э... уроки. Потом в дочки-матери играли.

(Дочки-матери! Как же! Евангелие читали тайком...)

– А родители дома были?

– Были.

– И что, даже обедом не накормили?

– Почему? Накормили очень вкусно.

(Вранье. Дом был совершенно богемный с весьма приблизительным понятием об обеде. Впрочем, как раз в последний мой приход был общий борщ...)

– А о чем говорили за столом?

(Что за ужас? Просто Оруэлл какой-то. «1984». Он, собственно, и стоит на дворе. Она что, была там, эта училка? За занавеской пряталась? Ведь говорили об обыске у друзей-пятидесятников и о том, что их могут арестовать, а детей изъять за религиозную пропаганду... И, как назло, ничего не могу придумать. В голове – шаром покати. О чем обычно взрослые говорят за столом? «Не заботьтесь, что вам отвечать». Господи... Ну пожалуйста...)

– Ну, что ты замолчала?

– А-а-а... э-э-э... А меня мама учила, что детям не положено слушать за столом взрослые разговоры!

Звонок.

(Спасибо Тебе!)

– Так. На сегодня закончим. Если ты расскажешь хоть кому-нибудь, включая родителей, о нашем разговоре, – тебе не поздоровится. – Х. было сообщено немедленно на заднем школьном дворе. Родителям – дома. Папа собрался в школу.

– Папа, умоляю, не надо. Ведь она меня убьет. Как я завтра пойду в школу?

– Ничего не будет. Я знаю, как с ними разговаривать.

Он действительно знал. С обаятельнейшей улыбкой предстал перед классной руководителем и представился коллегой-преподавателем. Он – университетский работник, она – школьный, они решают общие задачи по воспитанию подрастающего поколения. Он с интересом следит за последними постановлениями партии и правительства, касающимися образования, но, видимо, совершенно проглядел инструкцию, позволяющую отрывать студентов и школьников от учебного процесса, с тем чтобы вести с ними разъяснительные беседы, как это сегодня произошло с его дочерью, которая вынуждена была пропустить урок французского. Он бы очень хотел ознакомиться с постановлением, на основании которого это было сделано. Или хотя бы с инструкцией РОНО.

Училка прикусила язык. Она-то надеялась выслужиться, а это грозило обернуться серьезными неприятностями. Никакого постановления, разумеется, не было. Что ж, он так и думал. Он очень внимателен к своим профессиональным обязанностям. В следующий раз он пойдет беседовать прямо в РОНО. Впрочем, он надеется, что это досадное недоразумение не повторится. Не повторилось.

Так и жили. Утром выходили на остановку. Мела поземка. Окраина окраиной. Но – о чудо! – оказалось, что в соседнем доме живет сама Юдифь Матвеевна Каган. Та самая легендарная – знаменитый переводчик, филолог-классик, биограф Цветаевых, дочка философа Невельской школы Матвея Исаевича Кагана, ученица А. Ф. Лосева. Они жили вдвоем – мать и дочь. Строгая Юдифь Матвеевна и волшебная Софья Исааковна. Обе уже давно не выходили из дому, но дом их и был средоточием вольной мысли – территорией, свободной от советской власти. Они не были вопреки. Они были вне и над.

Однажды Ю. М. вызвали на очередной допрос в КГБ:

– Скажите, какое отношение вы имеете к радиостанции «Свободная Европа»?

– Одностороннее.

– ???

– Я их слушаю и знаю, они меня – нет.

Юдифь Матвеевна. Опора и камертон. Это она собрала в начале 1980-х группу околодиссидентских детей, чтобы обучать их (бесплатно, разумеется) латыни и основам классической культуры. Позвали и Хепию. В группе оказались будущие друзья на всю жизнь. Там встретила Митю. На чай к Ю. М. из соседнего подъезда заходил Сергей Сергеевич Аверинцев. Там же впервые встретила и В. А., ставшую такой родной. Через чтение латинских авторов («Cum repero noctem, qua tot mihi cara reliquit, / labitur ex oculis nunc quoque gutta meis»<sup>1</sup>), постановку «Антигоны» («Сестра моя любимая, Исмена, не знаешь – Зевс до смерти нас обрек терпеть эдиповы страдания?»), приглашения знакомых ученых с серьезными лекциями для тринадцатилетних птенцов («Глоттохронология и ее место в компаративистике») и прочих классическо-академических премудростей, Ю. М. ненавязчиво учила детей свободе. Чем бы они ни занимались, из-за стекол книжного шкафа на них вдумчиво глядели фотографии Анны Франк и Мартина Бубера, Януша Корчака и портрет Эразма Роттердамского. Так из занятий уроки все больше превращались в жизнь. А сама Ю. М. – из преподавателя в Учителя.

Каждую среду девочка бежала в соседний дом, а после возвращалась в блочную «трешку», счастливо декламируя про себя Горация, которого много лет спустя читала над гробом своего первого учителя:

Non usitata nec tenui ferar  
pinna biformis per liquidum aethera  
vates neque in terris morabor

<sup>1</sup> Только лишь вспомню <ту ночь>, как я со вседорогим расставался, — льются слезы из глаз даже сейчас у меня. Овидий. Скорбные элегии, I, 3, 1–4. Перевод Сергея Шервинского.

longius invidiaque maior...

Не на простых крылах, на мощных я взлечу,  
Поэт-пророк, в чистейшие глубины,  
Я зависти далек, и больше не хочу  
Земного бытия, и города покину.

Не я, бедняк, рожденный средь утрат,  
Исчезну навсегда, и не меня, я знаю,  
Кого возлюбленным зовешь ты, Меценат,  
Предаст забвенью Стикс, волною покрывая.

Уже бежит, бежит шершавый мой убор  
По голням, и вверх, и тело человечье  
Лебяжьим я сменил, и крылья лишь простер,  
Весь оперился стан – и руки, и заплечья.

Уж безопасней, чем Икар, Дэдалов сын,  
Бросаю звонкий клич над ропщущим Босфором,  
Минуя дальний край полунощных равнин,  
Гетульские Сирты окидываю взором.

Меня послышит Дак, таящий страх войны  
С Марсийским племенем, и дальние Гелоны,  
Изучат и узрят Иберии сыны,  
Не чуждые стихов, и пьющий воды Роны.

Смолкай, позорный плач! Уйми, о, Меценат,  
Все стоны похорон, – печали места нету,  
Зане и смерти нет. Пускай же прекратят  
Надгробные хвалы, не нужные поэту<sup>2</sup>.

На окраине Москвы дул пронизывающий ледяной ветер. У застекленной автобусной остановки, напоминавшей мутный стакан из школьной столовой, топтались черно-серые фигуры. Автобус никак не приходил.

*По радио передали, что М. по-прежнему держит голодовку с требованием освободить политзаключенных. Видимо, голодовка серьезная, он слабеет с каждым днем, но не сдается. Скорее всего, его мучают насильственным кормлением через зонд. По скудным и нетвердым сведениям, которые просачиваются в новостях, семье предлагают выезд. Видимо, власти не на шутку беспокоятся за его жизнь и хотят избавиться от М. без шума. Семья отказывается от эмиграции, если им не дадут свидание. Свидание не дают. Митя никогда не говорит об этом. Он не видел отца уже несколько лет. Это восьмой арест.*

Записала в тринадцатилетнем дневнике.

Автобуса все не было. Подумала было идти пешком, но вдруг представила: лагерь, вышки, строй заключенных... И остановилась. Нет, нужно дожидаться автобуса. На том стою и не могу иначе. Пусть руки и ноги окоченеют, пусть портфель с учебниками покажется чугунным, она должна быть стойкой. Слова «солидарность» девочка не знала, но стояла на морозе по

---

<sup>2</sup> Liber II. Carmen XX. Перевод Александра Блока.

стойке «смирно» и чувствовала, что этот бессмысленный с точки зрения здравого смысла жест чем-то приближает к правде. И потом – ей уже тринадцать, почти взрослая. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час?

*9 декабря. Страшное известие по радио: в тюрьме умер Митин отец. Его больше нет. Только-только забрезжила надежда. И все. Конец. 20 лет в лагерях. И что теперь Митя и его мама? И как это умирать в ледяном карцере, не увидев ни жену, ни сына, ни одного близкого лица. Умер Великий Человек. Его не сломали и не сломали. После этого нельзя трусить. Он боролся за нашу свободу. Настала наша очередь. Неужели мы промолчим?*

*11 декабря. Я дома с ангиной. Радио трещит. Слышно плохо. Передали что-то про похороны М. на тюремном кладбище. Взрыв возмущения во всем мире. Сквозь треск помех отчетливо прозвучало: «Присутствуют жена и сын...» И так явственно предстали в воображении эти две фигуры на клочке тюремного кладбища: сын, поддерживающий сгорбленную мать. Теперь уже отсиживаться и отмалчиваться совершенно невозможно. Даже если я буду одна. Но одна я не буду: Митя, Миша... Нас больше, чем кажется. Мы вырастем, мы не забудем. Мы не оставим это так.*

*15 декабря. Как близко такие разные события. Сегодня у нас дома (да и во многих семьях) – праздник. Сахарова и Боннэр возвращают из ссылки... Би-би-си передали, что было заседание Политбюро «О предложениях в отношении Сахарова А. Д.» – и «принято решение одобрить проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР (о прекращении действия Указа 1980 года о высылении Сахарова из Москвы и о помиловании Боннэр)»... Сахаров рассказал, что «в 10 вечера неожиданно пришли электрики и гэбист – поставили телефон. Гэбист сказал, чтобы около 10 часов утра ждали звонка». Позвонил Горбачев. С. и Б. получают разрешение вернуться в Москву. Но Сахаров первым делом говорит о смерти своего друга в Чистопольской тюрьме, просит Горбачева «еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении людей, осужденных за убеждения». А ведь другой промолчал бы, выпускают все-таки... Но А. Д. не такой. «За дверью квартиры исчезли стол и стул милиционера и сам милиционер. Больше поста у их двери не было. Телефон – остался... испытываем очень смутное чувство. М. погиб, зэки сидят – а мы возвращаемся в Москву. Возникает странное чувство вины...» – пишет он в послании друзьям.*

*30 декабря. Маленький брат Петя сломал ногу. На маме совершенно нет лица. Она сутками в больнице. Ей сейчас совсем не до нас – только Петя. Какое счастье, что есть латынь. Миша и Митя. И Ю. М. – сколько я им всем обязана... После занятий Митя качает меня на качелях и дарит солдатиков. Переписал всего Галича. А сегодня позвал в гости. Я пойду к НИИ в дом!!!*

По нехитрой советской арифметике в блочной «трешке» жили сначала шестером: мама-папа, трое детей и бабушка, а потом и вовсе всемером – родился брат Петя. Квартирный вопрос стоял остро. Хитроумными путями, через знакомую знакомых удалось выхлопотать бабушке отдельную квартиру этажом выше, а в год перестройки и гласности – невероятным везением плюс немислимыми родительскими усилиями обменяли эти «однушку» и «трешку» – на Большую Квартиру на Большой Садовой.

Вот так все начиналось. Еще стояло лето, и не было ни путча, ни раскола неба. Еще девочка в красном сарафане беззаботно улыбается в объектив, уверенная, что надежно защищена стеной мира взрослых от всякой опасности, таящейся в этом мире.

Буква. Слово. Одно слово. Два слово. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час?

А время летело навстречу вместе с юностью. И ветры свободы подхватили и понесли Европу. Вручение почетного гражданства и символического ключа от города Праги знаменитой восьмерке, участникам демонстрации 1968 года на Красной площади, протестовавшим против ввода советских танков в Чехословакию, состоялось тогда, 22 года спустя. Дубчек, пер-

вый премьер свободной Чехии, и Вацлав Гавел, первый президент-диссидент, поспешили пригласить в качестве почетных гостей тех, кто вышел «За нашу и вашу свободу» и кому они считали себя обязанными. Вышли, когда никто не мог этого предугадать. Вышли, зная, что за этим последует. Психушки, зоны, ссылки. Поломанные судьбы. Запоздалая и ненужная слава. Но и чехи знали уже тогда: будущее выйдет из этой восьмерки – как из гоголевской шинели. И когда в очередной раз прозвучит обывательский вопрос: да что может кучка (далее обычно идет произвольная цифра от единицы до нескольких тысяч)? – ответом может быть одно слово – «честь». Эпиграф из Карамзина Галич изменил так: «Жалеть о нем не должно, / Он сам виновник всех своих злосчастных бед, / Терпя, чего терпеть без подлости не можно».

Компания собралась разношерстная. Те, кто дожил до этого дня, съехались, разбросанные, из разных стран. Встретились, будто не расставались. Поселили в личном особняке Дубчека в Градчанах. Девочка, оказавшаяся там почти случайно, смотрела и запоминала. Как почетные гости отказались ездить на специально предоставленной правительственной машине с мигалками и затемненными стеклами (уж очень напоминали гэбешные), как передвигались то на метро, то на микроавтобусе всей шумной компанией, как путали комнаты в резиденции, теряли лекарства и деньги, врывались по ошибке в номера друг друга. Как окатило с головой из биде (не знали, что это такое) в роскошных премьерских апартаментах и явились на прием мокрые (запасного костюма не было), как сидели по вечерам в гостиной, а хозяин особняка комментировал художественный фильм, шедший в честь годовщины по чешскому телевидению: «Ну нет, этот актер Дубчек-герой, не я. Мне было очень страшно».

Тогда-то девочку-подростка и пронзило это чувство хрупкости. Они не были героями по призванию или безрассудству. Им было страшно. Они были героями, потому что были живыми. Трогательным, разным, в чем-то нелепым, талантливым, искренним, им всем было что терять. Но терпеть, чего терпеть без подлости не можно, живые души не могут.

Это она постарается запомнить.

## Глава третья Путеводитель

*Недоступная светская красавица, обласканная миллиардами глаз, лукавая карнавальная девочка в маске или Тишайшая (Serenissima), потаенная душа в переливах зеленоватой воды – наверное, все это правда. Венеция видится такой, какой мы ждем ее и какой мы ее себе представляем. Образ этот дробится в отражении сотен созданных в ее честь произведений. Но точнее всего она отражается в самой себе. Станет ли ваш приезд сюда всего лишь данью нарциссизму или же превратится во что-то большее – зависит только от вас. Дело не только в отражениях. Венеция – не общее место, а личное пространство, которое обещает встречу с самим собой. Со звуком собственного голоса и эхом шагов по гулким улочкам, чья тишина не нарушается шумом автомобилей. В этом городе люди по-прежнему видят друг друга лицом к лицу, а не через стекла машин, и потому каждый человек слышен и узнаваем. А в ясные дни город и вовсе превращается в детскую сказку. В канале кружатся рыбы, словно вышедшие на прогулку из дверей отраженного дома, а из резных окошек выпрыгивают солнечные зайчики, чтобы порезвиться на соленых кирпичных стенах с отшелушивающейся штука-туркой. Венецию трудно открыть – скорее, она откроется вам сама, если вы отвлечетесь от путеводителей и не пойдете торными путями. Стоит нырнуть в проулок, уводящий от основных, затоптанных туристской толпой улиц, и каждый ваш шаг и каждое слово будут гулко отдаваться в окрестных закоулках.*

*Приезжающий в Венецию путешественник оказывается или на вокзале, или на пьядцале Рома – последнем оплоте современного механизированного мира. Дальше – вода. Единственный вид общественного транспорта – катер-вапоретто. На нем-то и следует проехать по Большому Каналу. Перед вами развернется своего рода исторический парадный атлас. Полчаса пролетят незаметно, и вот вы уже прибыли на остановку «Valaresso–San Marco». Если вы из России, не исключено, что вы оставите свои чемоданы в отеле «Бауэр». За роскошным современным фасадом скрывается истинно венецианский интерьер, который в свою очередь продолжает уникальный трехаллейный сад – один из редчайших сохранившихся примеров классической ландшафтной архитектуры. Отель «Бауэр» расположен на Большом Канале в палаццо Мочениго, которым владеют потомки известной в истории венецианской семьи дождей. На протяжении веков семейство Мочениго встречало и принимало в этом палаццо выдающихся политических деятелей (например, герцога Савойского в 1574 году), художников, философов, поэтов (лорда Байрона в 1820 году). К сожалению, с именем Мочениго связаны и не лучшие страницы истории: один из членов семейства пригласил к себе Джордано Бруно для изучения мнемотехники – особых приемов развития памяти, которыми тот владел. В независимой Венецианской республике ученый надеялся найти защиту от преследований Рима. Дело, однако, обернулось предательством, и Джордано Бруно был передан в руки инквизиции, а мнемотехника – почти позабыта. Однако один из ее приемов известен и современной психологии: чтобы избавиться голову от ненужной вам в данный момент информации, расположите эту информацию по какому-то маршруту. В тот же момент, когда она вам понадобится снова, – мысленно пройдите этот путь и соберите все сведения.*

*Перейдите мост Академия. Если вы чувствуете в себе силы и желание знакомиться с шедеврами венецианской живописи, то стоит посетить одноименную галерею, однако не стоит проводить там долгие часы. Каждая из десятков церквей Венеции битком набита мировыми шедеврами, и в погоне за ними вы рискуете упустить саму Венецию. Венецианское искусство так органично вписывается в сырой воздух, в запах воды, в узкие улочки, в полутемные интерьеры церквей, что поневоле начинаешь проникаться средневековой идеей города, ремесленных цехов или скуол (особого рода венецианских ремесленно-благотворитель-*

ных общин). Тогда искусство не было возведено в ранг возвышенных занятий, а было просто продолжением ремесла, а значит, повседневной жизни, начисто лишенной какой-либо богемности. Так что выберите для себя в «Академии» один-два зала. Достаточно посмотреть трех основных венецианских классиков, чтобы, выйдя на улицу, узнать во встречной болонке маленькую белую собачку Карпаччо, в очертании золотистых кудрей маленькой девочки с портфелем – наследницу Тициана, а в чертах лица ее мамы – мадонну Беллини.

На второй день вас, скорее всего, разбудит звон колоколов Сан-Марко. Теперь, проведя день в Венеции, можете смело выйти на площадь, не боясь всей банальности этого мероприятия. Вы здесь почти свои... Вы можете выпить кофе в кафе «Флориан», старейшем в Европе, или же заказать традиционный венецианский коктейль «Беллини». Впрочем, вы здесь не за этим. Зайти в базилику и замереть в золотистом сиянии мозаик. Венецианцы не только хитрецы (сколотили свою славу на украденных мощах евангелиста Марка), но и мастера. Для современников интерьер собора был чем-то вроде книги и фильма одновременно. В расположении куполов, распределении на стенах базилики сюжетов и символов, которые были азбукой средневекового человека, а сегодня доступны лишь специалистам, скрыт драматизм сюжетов, крепко связанных с повседневной жизнью людей. Это называлось *Biblia pauperum* (Библия бедных – или, точнее, – *Biblia popularum* – Библия зрачков). Говорят, люди приходили сюда и проводили дни в своего рода «чтении». Но, увы, в нашем распоряжении всего лишь одни выходные. А потому выйдите на свет божий и, обойдя базилику слева, пройдите вперед мимо двух мраморных львов, которых так любят седлать дети. Через некоторое время, дойдя до церкви Сан-Заккариа, загляните туда, чтобы увидеть знаменитую Мадонну с Младенцем работы Беллини. Затем вы можете пройти дальше и, полюбовавшись на местную пизанскую башню – накренившуюся над каналом колокольню греческой церкви, углубиться в сестер Кастелло и дойти до церкви Сан-Джованни-де-Брагора, в которой крестили Вивальди и где он потом служил капельмейстером. Можете продолжить прогулку до Арсенала, где ковалась военная и морская мощь Венеции. А можете пойти дальше, до самых Садов Биеннале.

Если сейчас лето и день выдался жаркий, неплохо сесть на вапоретто и отправиться на пляжи Лидо. На обратном пути вам, вероятно, захочется посетить Сады Биеннале (особенно если год на дворе стоит нечетный и знаменитая выставка современного искусства в самом разгаре). За эти дни вам уже приходилось, вероятно, замечать, что в лагуну нередко заходят огромные суперсовременные лайнеры. Это будет, пожалуй, самой точной метафорой биеннале. Масштабы этих пароходов во много раз превосходят размеры венецианских резных домиков и кружевных фасадов палаццо, которые от этого соседства кажутся еще более хрупкими. Дни открытия биеннале – испытание потяжелее карнавала. Слово безжалостная рука стирает с доски знакомые лица и родные черты, чтобы взамен высыпать на город содержимое глянцевого журнала и телевизора. От современного искусства, VIP-персон, коктейлей и презентаций рябит в глазах, а в душе возникают помехи. Венецианцы не любят биеннале, но как истинные провинциалы не могут отказать себе в удовольствии приобщиться к Большому Миру. Приглядеться к лайнеру-пришельцу. Поглазеть, как он пришевартуется, как команда сойдет на берег, как город наполнится выставками и инсталляциями – но ненадолго. Корабль уйдет туда, откуда пришел, а город продолжит свою собственную жизнь. Да и вам пора вернуться к Сан-Марко и, вырвавшись из толчи на набережной Скъявони, сесть на вапоретто № 2, чтобы, проехав одну остановку, высадиться напротив, на острове Сан-Джорджо. Нужно успеть сделать это до пяти вечера – тогда, войдя в храм Святого Георгия, построенный Палладио, вы сможете свернуть в коридор налево с указателем «campanile», и у лифта вас будет ждать один из шести монахов-бенедиктинцев, который поднимет вас на колокольню, откуда открывается вид на всю Венецию. Вы взлетите и поплывете в дымке над черепичными крышами, колокольнями, увидите резную шкатулку Дворца дождей, площадь Сан-Марко, толпы муравьишек-туристов, разглядите лодки-рыбки всевозможных форм и

*размеров, разрезающие во всех направлениях лазоревую поверхность каналов и лагуны, ваш взгляд поплывет за горизонт, к далеким островам, тонущим в тумане, к таинственному Торчелло, с которого началась Венеция и куда вы еще обязательно попадете, но не сейчас, не сейчас...*

*Многим Венеция напоминает загробный мир. Но она – всего лишь проекция мира внутреннего. Идеальная топография души. По-итальянски слово «город» (città) женского рода. И это не случайно. Наверное, каждый из нас знает: чтобы что-нибудь понять в себе самом, нужно заблудиться. А заблудиться в лабиринте Венеции нетрудно. Достаточно отложить карту и идти наобум. Шаг становится все ровнее, все тише. И вот, оказавшись наконец в укромном уголке собственной души, вы вдруг узнаете все разом – и знакомый канал, по которому неторопливо текут ваши мысли, и маленький мостик сознания, соединяющий два берега вашей жизни, и рябь на воде, и знакомые лица местных жителей – разве это не те люди, которых вы знаете с детства? И в этот миг узнавания надо остановиться, прислушаться к плеску воды, крику чаек, далеким колоколам или ударам гондолы о сваю и понять, что не вернуться сюда нельзя.*

Так заканчивался первый текст для женского путеводителя. Что ж, всё хлеб.

«La bellezza della pagina sono i margini»<sup>3</sup>, – первое, что услышала, проходя по коридору издательства. И даже не успела удивиться, что чужими устами произнесено то, чем днем и ночью заняты мысли. Собственно, в основу всего стремительно обретающего черты замысла легло именно это изначально чисто ремесленное знание художника-графика, которое понемногу вырастает во что-то большее.

Очередное утро началось со звонка бабушки Антонио: «Синьора, вы помните, что мы с вами условились в десять часов?» Антонио волнуется. Мы спустимся и будем ждать в саду... Пришлось, быстро допив чай и проглотив остатки слов и утренних мыслей, мчаться сломя голову по Калле делле Боттеге. Два маленьких нobile и элегантная бабушка уже ждали в саду. Бабушка прослышала о грядущей детской биеннале, а Антонио как раз увлечен рисованием, хочет учиться, участвовать в выставке, но, разумеется, не в группе. В знак особого расположения меня встречает не лакей-бангладешец, а сами хозяева. Вместе поднимаемся на piano mobile<sup>4</sup>. Все как положено: огромная зала с фресками на потолке и тяжелой люстрой муранского стекла; на стенах фамильные картины. Лак растрескался. Краски потускнели. Все темновато и приглушено, как всегда в таких домах, если оказываешься там не на балу или на светском приеме. Сонно и одиноко. Посередине – столик с креслами, в одном из которых очень серьезный семилетний мальчик в очках методично нажимает на кнопки какой-то электронной коробочки. Во второй зале, соединенной с этой, стоит стол на гнутых ножках, на котором уже приготовлены художественные принадлежности. Из огромных готических окон бифоры льется спокойный свет. (Палаццо, как и положено, выходит на Большой канал.) В противоположном конце залы – рояль. На нем обычные семейные фотографии – свадьбы, пляж на Лидо, трое мальчиков с ярко выраженными благородными чертами: Пьетро, Антонио и Джакомо. Пьетро смотрит, Антонио рисует. И едва дети берутся за дело, – а в дело идут чашки, молочники и кувшинчики, – они и становятся главными действующими лицами. Даже не они, а то, что между ними: рисовать невидимое – одни лишь пробелы, блики, просветы, дырки, прорези ручек... и вот оно, ощущение счастья. Нет, просто полноты, которая только потом осмысливается как счастье, а пока забирает самое твое существо – и все остальное отступает. Так восемнадцать лет назад ужас и тоска вдруг отпускали на 45 минут урока английского. Теперь-то это не должно кончиться. Возвращайся скорее домой. Там качается лодка и течет твоя жизнь. Два знакомых дрозда устроились в изгибах винограда и переливчато чирикают о своем птичьем житье. Окна

---

<sup>3</sup> «Красота страницы – в полях» (итал.).

<sup>4</sup> Второй этаж (итал.).

дома раскрыли зеленые ставни и смотрят во все глаза. Прислушиваются. Легкий ветерок с лагуны перебирает пока еще белые странички простынь, развешенных по струнам, тянущимся из сада через годы и страны. Роксана с одноклассником делает геометрию в тени еще не полностью собранного винограда, а Саша сладко спит часов до десяти. Потом выходит на кухню и неторопливо пьет чай с круассаном и книжкой в руках. Ревниво расспрашивает об Антонио и почему это ей, родной дочке, мама дает публичные уроки вместе со всем классом, а им «личные». Мама терпеливо объясняет, что публичные, конечно, гораздо веселее и полезнее, зато за «личные» больше платят. Объяснение принимается. Сашенька допивает чай, спускается в гостиную и садится за клавесин. Нотка скачет за ноткой, и воздух наполняется пружинными звуками полонеза. Клавесин въехал к ним недавно. Он так ладно вписался в небольшую гостиную, будто бы всегда был ее обитателем. Просто и без имперского размаха – чай, не рояль.

Рядом с Сашей людям хорошо. Она умеет поймать и передавать простыми мелодиями и словами еле уловимые общие чувства. Вот и сейчас: «Хотя мы давно уже приехали с хутора, и, когда начинаются каникулы, так хочется уехать, а потом не хочется, чтобы они кончались, но приезжаешь домой в Венецию и думаешь: „Как хорошо дома и какой у нас хороший дом“». Из сада аккомпанементом доносится хохот Ксюши и Пьетро. Хохочут так, как будто речь совсем не о высоте треугольника и теореме Пифагора. Чудеса, да и только. Надо ли писать об этом? Может быть, стоит просто жить?

На улице все еще довольно тепло, но уже чувствуется дыхание зимы. По утрам на город опускается туман, словно та самая старушка-соседка, что вытряхивает белую скатерть над каналом в окне напротив, покрыла ею мосты, крыши, мостовые и колокольни. Попытка сфотографировать эту соседку никогда не увенчивается успехом: стоит навести на нее фотоаппарат, как старушка Неббия, не долго думая, нахлобучивает на объектив скатерть, а сама скрывается за ставнями. Выждав пару часов, когда туман рассеется, и расшалившись еще пуше, она выливает на город бездонное ведро дождя. Вода в каналах снова поднялась и вышла из берегов. Загудели сирены. В Венеции уровень воды определяется музыкально. Все поднимающиеся сигналы означают сначала сто сантиметров над уровнем моря, потом сто двадцать, а на нашей маленькой улочке вода уже по щиколотку. Вода прибывает. «Осада, приступ, злые волны» – и далее по тексту. Хорошо еще, что заботливая *Comune di Venezia* оповещает жителей заранее эсэмэсками. Впрочем, если они опять ошиблись на семь сантиметров... «Как в воду глядела», – непроизвольно скаламурила я, бодро поднимая в очередной раз диван, скручивая ковер и водружая стол в гостиной на кирпичи. Дело, как обычно, приняло сугубо лингвистический оборот: все это немедленно отражается в нашем языке, и речь как будто наводняется. Мы знаем: «С Божией стихией царям не совладать» – и ложимся спать. Спокойной ночи. Утром мы проснемся под вой сирен, весь транспорт пустят по Большому каналу. Народ в лавках засуетится, школьники зашлепают по лужам, прохожие зацокают по настилам, а старушка-соседка, нарезвившись вдоволь, незаметно откупорит пробку, спрятанную где-то на дне Большого канала, и глядь! – все снова вернется на места так же внезапно, как началось.

Проводив детей в школу, я отправляюсь в мастерскую на Фондамента Нуове. Идти туда, даже петляя и хитроумно срезая дорогу, по венецианским масштабам – очень далеко – целых полчаса. Мастерская (бывший лодочный сарай) находится в узком проулке напротив острова-кладбища Сан-Микеле, который в этот час тает в утренней неббии, гармонично вписывая *memento mori* в общую красоту и простор мира. (Хотя, впрочем, едва ли это *memento* можно вписать куда-то гармонично – вероятно, мне просто хочется так думать.) Обычно я следую как раз маршрутом, описанным у И. Б., – «точка, перемещающаяся в этой гигантской акварели» – вдоль Фондамента Нуове. Подхожу к массивной двери-воротам, отпираю грузный замок. Иногда целый день рисую там, а иногда выбираюсь на свет божий. На следующей неделе перехожу к изготовлению офортов-иллюстраций для будущей книги.



временем Лили в качестве сюрприза решила напечатать первый оттиск. Самый ответственный момент. Все столпились у станка. Лили медленно поднимает огромный лист. Я не смотрю. Мне страшно. Но со всех сторон хором звучит: «Bellissimo! Bravissima! Guarda!» Ну разве что чуть-чуть, краешком глаза... Цвет... фактура. Вот он. Моментальный отпечаток длинных осенних дней. Такой, каким и был задуман. С нетерпением жду, когда он просохнет. Сильвано, мирно приговаривая «ессо-ессо» (или он просто так побрякивает?), тщательно упаковывает нашего гигантского новорожденного в картон, бережно заворачивает картон в тряпки, и мы бежим...

Запахавшиеся – вверх по старинным лестницам, мимо жутких застенков и зарешеченных окон казематов темных времен. Вот и зал. Директор музея тушит свет. Джанфранко надевает пальто. Оба собираются уходить. Наше внезапное появление расстраивает их планы. Директор нехотя раскрывает картонную упаковку. И... расцеловывает меня в обе щеки. А потом чуть ли не кружит по залу. Чувствую себя примерно как Масик, который, придя на днях из школы, сообщила:

– Маэстра Эльза так хвалила меня сегодня, что у меня даже голова закружилась.

Мы заканчиваем развеску, и вконец расчувствовавшийся директор предлагает мне осмотреть другую выставку в палаццо. Вы же русские. «Analogia dell' Icona». Название раздражает, впрочем, афиши этой выставки на улицах попадались на глаза и раньше... на помойных контейнерах. Какой-то американский экспрессионист. Там ему и место. Какой-то маляр примазывается своими акриловыми красками к нашим иконам. Наверняка чепуха – подумала тогда. За что была немедленно наказана. Точнее, вознаграждена.

В первом же зале в глаза бросились годы жизни: 1912–1998. А затем биография этого «маляра». Йельский университет. Война. Доброволец на фронте – водитель «скорой помощи» в Италии. Среди первых американцев, вошедших в концлагерь Берген-Бельзен после его освобождения. Возвращение в Нью-Йорк. Живопись. Город. Город заглывающий. Город с истерзанной душой, изрезанный черной тушью. Город сияющей черноты. Послевоенный человек с зияющей внутри пустотой. И вот Вильям Конгдон – знаменитый художник. Дружба с Поллоком, Ротко... Его мотает по миру, но сам он все больше тянется к Европе. С 1950 года живет в Венеции. Прекрасные мерцающие перламутрово-черные, почти абстрактные работы. Сан-Марко. Пегги Гуггенхейм. Успех. Путешествия. Гватемала. Птица, раскинувшая крылья через весь холст. Вспышка света. 1959 год – принимает крещение и переезжает в Ассизи. Живет там девятнадцать лет. Уходит из внешнего мира искусства, но не бросает писать. Ищет новый язык. Пишет в основном распятия. В этот период его очень поддерживает Томас Мертон, который рассказывает о его творчестве.

В 1970-е годы Конгдон перебирается в монастырь под Миланом. Он умер в день своего 86-летия. В Великую Субботу. Последняя картина написана накануне.

Зал за залом ты проходишь его путь.

Путешествие в Индию. Спящие фигуры бездомных на асфальте.

Христос, ставший асфальтом, землей. Распятие – мазок пигмента. Terra di Siena. Фактически прах земли. В одном зале совсем темно. Там идет фильм о его творчестве с его же комментарием. Искусство после холокоста. Бог после холокоста. Бог страдания и распятия. «No easy resurrections»...<sup>5</sup> И тут наконец, устыдясь своего снобизма, мысленно воздаю должное организаторам выставки. Это иконы не только потому, что они явленные. Это иконы в смысле прямоты. Намеренного отказа от всякой иллюзорности. В смысле понимания непосредственности явления, в непосредственности связи.

Этой же осенью Венеция подарила нам еще одну выставку нашего современника, которая поразила тем же – силой прямоты. Зафет Зец – Safet Zec (Зек – на итальянский манер), 63 года, боснийский художник. На родине почти классик. Во время войны в 1992 году, бро-

<sup>5</sup> «Никаких легких воскресаний» (англ.).

сив все, перебрался в Италию. Ясное лицо. Рука мастера. Простые вещи. Почти все картины без названий или названы односложно. Материалы – оберточная бумага, газета, бумага, тушь, темпера. За ними война, голод, изгнание, жизнь.

В основном натюрморты.

Он пишет существительными.

Складки.

Картошка.

Хлеб.

Лодка.

Драпировки на стуле и алюминиевый тазик на полу.

Туша.

Белое полотно на камне.

Библейская фактура. Именно она дает новое измерение этим вещам. И ты делаешь новый круг. А потом еще раз.

Хлеба, оставленная лодка без рыбаков, тазик, одежда, омовение ног, туша, смерть, война, жертва, белое полотно на камне.

Утро Воскресения.

Свет и материальность.

Вещность как залог.

И умение называть. Дать этим вещам зримые имена.

Наверное, это и есть живопись.

Зец говорит существительными, а Конгдон – глаголами. Но оба возвращают образительной речи пронзительный смысл. Взгляд на искусство как на служение, признаться, всегда вызывал у меня изрядные сомнения, которые последнее время перешли в уверенность: искусство НЕ служение, но оно, без сомнения, может быть путем. После всех «измов» и «пост-» в наше время еще сохранилась возможность прямого высказывания. Путь лежит, наверное, только через предельную верность себе и открытость миру.

Но я заболталась. Легкое головокружение от образительных впечатлений и успехов, которое сопровождало последние две недели наше скромное семейство, несколько затянулось и, наверное, успело вас утомить, но, надеюсь, к воскресному утру оно пройдет.

Уже стемнело. Из-за колокольни Кармини выглянул месяц и смотрит в наше окошко. Спокойной ночи. *Sogni d'oro*<sup>6</sup>.

Обратный путь из мастерской я обычно проделываю к четырем часам. Бегом через мост Академия. Сталкиваюсь со смешным бородатым падре Маттео из ближайшей церкви или с пижоном Антонио, который, уже успев припасть к своей законной тарелке со спагетти, спешит отпирать свою антикварную лавку: «Ciao!» – и все-таки попадаю в объектив какого-нибудь незадачливого путешественника, который в эту секунду как раз вознамерился снять поистине уникальный кадр – вид на Большой канал и Санта-Мария-дела-Салюте, а вовсе не мою физиономию... Но не перебежать кому-нибудь этот уникальный кадр на мосту почти невозможно – фотоаппараты щелкают, как пулеметная очередь. Наконец, перебравшись через мост, я оказываюсь у школы, возле которой уже толпятся родители, как раз в тот момент, когда звонит звонок и дети ручейками цветного песка начинают высыпаться из больших дубовых дверей с надписью «Scuola Elementare». Вот и мои. Сашка трещит, описывая каждую секунду своей школьной жизни и каждые полмысли, пришедшие ей в голову, а Роксана независимо шагает рядом, иногда сообщая отдельные highlights<sup>7</sup>, хотя видно, что и она очень довольна.

---

<sup>6</sup> Сладких снов (итал.).

<sup>7</sup> Важные известия (англ.).

К семи вечера начинает смеркаться и веки начинают смыкаться сами собой. Надо выйти за хлебом, сделать что-нибудь полезное и, дотянув таким образом до девяти часов, уложить детей и рухнуть самой. Жизнь в городе начинается рано, а вот ночная практически отсутствует. Но это и к лучшему. Мы – дети света как-никак.

Сны в Венеции – точь-в-точь отражения в каналах. Снится то же самое, что происходит, что видишь и о чем думаешь наяву. Только чуть неуловимей и в то же время отчетливей – очертания ясней, линии чище... Во сне иду вдоль знакомого канала и вдруг, откуда ни возьмись, совершенно незнакомая церковь – странная смесь древнерусской и романской архитектуры.

Захожу внутрь и с удивлением замечаю, что канал не заканчивается у дверей, а проходит через храм насквозь, алтарь же представляет собой мост. По разным «берегам» – в северном и южном приделе идут одновременно две службы: католическая и православная. Совершенно растерянная, наклоняюсь к кому-то из прихожан и спрашиваю шепотом:

– Как можно служить две литургии одновременно? И разве они друг другу не мешают?

– Нет, совершенно не мешают, даже наоборот, – отвечает мне во сне словоохотливый собеседник, – мы просто вещаем на разных частотах...

Но не будем вступать на зыбкую почву снов... Явь здесь точно снам не уступает, и уж во всяком случае она легче укладывается в бесплотный жанр электронных писем.

Субботним утром мы вышли из дома довольно рано.

– *Ma dove vai? Attento, mio caro*<sup>8</sup>, – попавшаяся навстречу старушка ласково обращалась к кому-то из девочек почему-то в мужском роде.

– *Scusi, signora*?<sup>9</sup> – переспросили девочки хором.

– Да я не вам, я с голубем разговариваю, – сказала старушка и продолжила нежный монолог, обращенный к серому голубю, неторопливо расхаживающему по мостовой.

А пока старушка воркует с голубем, Суббота разогнала туманы, высушила детские слезы, расправила перышки и направляется к вам очередным еженедельным посланием.

День получался сказочный. У первого же моста Саша увидела неторопливо плывущий совсем недалеко от берега башмак. Новенький, на толстой подошве. Вслед за ним из-под моста выплыл и его правый брат. Прекрасные коричневые ботинки, сбежавшие от хозяина, похоже, решили пуститься в самостоятельное плавание.

– Смотри, смотри, мама! – кричит Роксана.

И на глазах изумленных венецианцев она плюхается на набережную и подцепляет правый башмак. А Саша тем временем бросается вылавливать на другом берегу левый. Держа в руках водные трофеи, мы сели на мотоскафо, который вмиг домчал нас до чудо-острова Мурано в царствие... Можно не продолжать. Светило солнце. В трещинах мостовой весело поблескивали цветные стеклышки и осколки. Обвешанные мокрыми ботинками, мы, вероятно, представляли собой самых странных приезжих на острове стеклодувов. Но этого нам показалось недостаточно. В то время как все путешественники вертели головами и любовались окрестностями и витринами, мы шли, уставившись носами в мостовую, то и дело бросаясь под ноги опешившим встречным, чтобы выковырять из мостовой очередное цветное сокровище. Набив карманы осколками, двинулись в обратный путь. На глаза попалась оранжевая гондола с оранжевыми гребцами. Гребцы за украинскую демократию (речь идет о 2004 году) налегали на весла с такой силой и уверенностью, а гондола скользила так быстро, что в исходе выборов никаких сомнений не оставалось.

На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Что тут добавишь, если стоит подумать, что не в чем ходить зимой (у меня только осенние туфельки), как ботинки сами выплывают

---

<sup>8</sup> Куда идешь? Осторожней, мой милый (итал.).

<sup>9</sup> Простите, синьора? (итал.)

навстречу по каналу. А стоит задуматься о завтрашнем дне, как в трещинах муранской мостовой находится несметное количество сокровищ.

«Мы приехали сюда бедняками, а уезжаем богачами», – подвела Роксана итог этого дня. Хорошо бы научиться говорить так про каждый день...

Хорошо бы, где бы ты ни был, каждый день на горизонте видеть дымчатые очертания города.

Хорошо бы плыть, как плывешь на мотоскафо, зная – зачем, но не заботясь – как.

У Венеции есть чему поучиться.

Хорошо бы и дальше не забывать, что в конце Калле Лунга есть дверь, за которой каждый чувствует себя дома, будто прожил там всю жизнь.

И я хотел бы жить в твоём раю – в полуподводном,  
облачном краю,  
военнопленном, лайковом, толковом, где в стенах  
трещины, освоив речь с трудом,  
вдруг образуют иероглиф «дом» – ночной зверек  
под крышей тростниковой.  
Там поутру из пыльного окна волна подслеповатая  
видна,  
лимон и лавр, о молодых обидах забыв, стареют,  
жмутся к пяточку  
дворовому. И ветер начеку. И даже смерть понятна,  
словно выдох.  
И я хотел бы молча на речном трамвайчике,  
рубиновым вином  
закапав свитер, видеть за кормою земную твердь.  
Сказать: конец пути,  
чтобы на карте мира обвести один кружок —  
в провинции у моря.  
Ах как я жил! Темнил, шумел, любил. Ворону —  
помнил, голубя – забыл,  
не высыпался. Кто там спозаранок играет в кость,  
груженную свинцом,  
позвякивая латунным бубенцом – в носатой маске,  
в туфельках багряных?

*Бахыт Кенжеев*

Венеция и вправду не устаёт наводить мосты. Мосты – это логические связи города, который кажется на первый взгляд торжеством абсурда и неевклидовой геометрии. На самом же деле в Венеции связь пространства так же наглядна, как связь времен. Я вижу этот пейзаж по многу раз в день, но он не надоедает. Устье Большого канала и огромная базилика Санта-Мария-делла-Салюте. Ее гиганский купол осеняет весь город, а сама она хороша всегда: и в сиянии дня, и в предзакатных сумерках, и в утренней неббии. Храм начали возводить в 1630 году, когда в Венеции свирепствовала чума, и дож Никола Контарини вместе с другими правителями решил построить храм и посвятить его Богоматери, когда она избавила город от этой страшной болезни, унесшей тем июнем больше жизней, чем когда-либо. Эпидемия остановилась. И уже четвертую сотню лет Венеция молится о болящих в день праздника Санта-Мария-делла-Салюте 21 ноября, а горожане идут в церковь по специально построенному к этому дню понтонному мосту. Мы петляем в дымке по осенним улицам, отблески солнца пле-

щутся в каждой арке, под каждым мостом, в каждом окне и каждым бликом своим напоминают о том, что все тот же, уже неоднократно цитировавшийся здесь автор писал про венецианские ставни: крылья ангела, заглядывающего в окно. Похоже, он знал, о чем говорил. Вот и мост к Салюте. Дети, старушки, мамы-папы. Ярмарка, пряники. Добродушный дяденька продает шарики. Шарик шарикую рознь, мой утеночек... У входа в храм люди покупают огромные свечи и входят внутрь в полутьму собора. Все дрожит и тает в мерцании свеч. Много-много, целый лес. Свечи-судьбы, свечи-имена, свечи-лица. Я их знаю и надеюсь, что и они о нас помнят.

Они тут.

Уйти невозможно.

Наконец мы все-таки выходим на улицу. И вдруг становится совершенно понятно, что значит этот мост, перекинутый с того берега на наш...

С добрым утром!

Просыпается наш городок в табакерке. Солнышко всходит на перламутровом небе. Утро наполняется колокольным звоном. Дядьки-молоточки, как всегда, выбрали именно субботнее утро, чтобы забить еще одну сваю в основание нашего канала. Но пока наш Валик (Саша) сладко ворочается под неизменным розовым одеялом, а Царевна-Пружинка (Роксана) еще не проснулась и не вылетела стремглав за булочками, я успею написать несколько слов.

Вот проплыла еще неделя. Дни плавно сменяли друг друга, появляясь как лодки из-под моста Трех Арок (Tre Archi – единственный в Венеции мост с тремя пролетами), на котором мы с детьми пускали мыльные пузыри. Мы сидели, болтали ногами и смотрели на лодки: большие, маленькие, с моторами и на веслах, с собаками, без собак, с коробками, посылками, старинными канделябрами, моторки с бочонками вина, с запчастями VOLVO, на маленькую баржу с какими-то ветками, настриженными в венецианских садах, на лодку со стиральной машиной, за которой торжественно выплыл Понедельник.

Вторник проскользнул, как гондола, плавно и беззвучно. У Лили и Сильвано в мастерской по случаю окончания серии офортов было устроено чаепитие. Крепкий чай с сицилийскими лимонами. Домашний пирог. И никакого привыкуса богемности. Художники, поэты, музыканты: их жизнь так ладно вписывается в сырой воздух, в запах воды, в узкие улочки, что и впрямь начинаешь проникаться жизнью средневековых скуол, жизнью города ремесленников. Но, увы, свято место пусто не бывает. Не секуляризация ли возвела искусство в не положенный ему священный ранг? Но Лили и Сильвано словно этого не заметили. Они с равным усердием печатают чужие офорты, делают нерукотворной красоты рукодельные книги, преподают эстамп и рисуют сами. Для них искусство не перестало быть закономерным продолжением ремесла. Они мастера. И пока таковые остались, слово «мастерство» все еще мерцает где-то в глубинах нашего словаря...

За Вторником выплыла Среда, груженная делами, суетой, книгами, бумагами и походом на родительское собрание для родителей-иностранцев. На собрании, кроме вашей покорной, была молдавская мама близнецов из 5-го класса и две филиппинки. Китайская мама манкировала сие мероприятие. А зря. Собрание стоило посещения. Признаться, шла я туда неохотно: думала, что нам дежурно расскажут, как наши *bambini stranieri*<sup>10</sup> справляются с программой, каковы их успехи/неуспехи, что надо делать для улучшения их итальянского языка. Ошиблась. Нам раздали вопросники о плюсах и минусах итальянской школы по сравнению со школами в наших отечествах и о трудностях, с которыми столкнулись наши дети. Не слишком ли много задают и не слишком ли трудны задания? Хорошо ли дети отнеслись к новичку? Достаточно ли внимательны учителя к проблемам наших детей? Как с языком? Знаете ли вы о внеклассных занятиях, кружках и секциях в вашем районе/приходе? Участвуют ли ваши дети в праздниках и занятиях вне школы?.. И попросту: достаточно ли наша итальянская школа хороша для

---

<sup>10</sup> Дети-иностранцы (итал.).

ваших детей? Смогли ли мы сделать все, чтобы им было там уютно? И на что вы, родители, советуете нам обратить внимание, что улучшить... Это не было показухой. Корень подобного внимания не в модной идеологии политкорректности и равных возможностей, а в каком-то романтическом демократизме гарибальдийского разлива, идущего в конечном итоге от глупо укорененного в христианской почве внимания к отдельному человеку. И еще – при всей раздробленности – в наивной гордости за Нашу Итальянскую Школу, словно где-то посередине Рима на одном из холмов возвышается со времен Ромула и Рема ее огромное здание, откуда вышли все учителя – и выпускниками и одновременно сотрудниками которой они по-прежнему себя ощущают. Я живо представила подобное собрание в родной московской СПЕЦИАЛЬНОЙ. Основной мотив был бы: достаточно ли вы и ваши дети хороши для НАШЕЙ элитарной интеллектуальной школы? Вопросом, довольны ли школой дети и родители, как-то никто не задавал. Мнение детей и родителей никак не влияет на престиж школы. Напротив, чем недоступней эта высота, тем качественней почему-то считается школа. Не нравится – уходите. Вас здесь не стояло...

Дальше дни поплыли еще быстрее. Четверг вылетел навстречу скоростной моторкой в облике дона Маттео, который несся с утра пораньше по Калле Лунга, вперившись в какой-то листочек. Это оказались русские глаголы движения: шел, шла, шли, бежать, бежал. Наш священник неожиданно решил выучить русский.

А вот и Пятница. После школы пятничным вапоретто, пыхтя, увез Роксану и Сашу в направлении той же Джудекки под присмотром карабинера. Нет, не пугайтесь. Карабинер – это толстый добродушный Пино, папа Паолы (одноклассницы Роксаны) и Андреа (одноклассника Саши), который прихватил наших детей к своим в гости. Дети вернулись под большим впечатлением. «У них сад больше, чем школьный, а на диванах нельзя прыгать!» – выпалила Сашка с порога.

Стемнело. Звонят к вечерней мессе. Колокольный звон расплескивается по окрестным улочкам, накрывает площадь Санта-Маргарита, катится до самого моста Ка' Фоскари, и снова отлив. И опять: от нашего окна – обратно к колокольне Кармини. Становится тихо, и только дождик, неизменный соавтор моих посланий, неторопливо перечисляет обильные события последней недели, а мне остается лишь записать очередной диктант.

## **ДЕНЬ СВЯТОГО МАРТИНА**

### **Еженедельный рассказ**

Эта поучительная история, дети, случилась на самом деле. День выдался исключительно бездарный. Снова подул сирокко, и опять поднялась вода. Всю ночь выли сирены и хлопали ставни. Знакомая мелодия. В зависимости от высоты сигнала и их количества мы уже без труда узнаем, какого уровня достигнет вода. К восьми утра на улице по колено, и в школу дети отправляются в высоки сапогах или на спинах у родителей. Роксана кое-как плетется во взрослых сапогах, а я в каких-то немислимых бахилах перевоплотилась в святого Христофора и тащу Сашку через мосты и каналы. Из всех закоулков выползают родители, тоже таща на закорках своих больших и маленьких детишек. Кто-то, как настоящий кролик, доносит до школы одного и возвращается за следующим. Деда Мазая что-то пока не видно. В школу можно забраться только по пожарной лестнице. Лавки закрыты. Кафе тоже. Кое-где владельцы магазинчиков включили насосы. Наш скрипичный мастер еще с вечера переставлял все скрипки в лавке повыше и подвешивал виолончели. Особо ценные инструменты он унес наверх, в мастерскую-мансарду. Впрочем, аква альта – явление временное и есть не что иное, как прилив, усиленный ветром и фазой луны, поэтому через несколько часов вода уходит, и только порывы

холодного зимнего ветра несут и кружат листья по площади, еще два часа назад покрытой водой. «Листья, как дети, которые торопятся скорее на места, пока не пришла маэстра» (из Сашиного поэтического наследия).

В нашей мастерской тоже эвакуация. Итальянцы – люди спонтанные и вдохновенные. Джанфранко (с которым, несмотря на то что денег он мне давно не платит, мы все еще продолжаем изображать совместную работу) неожиданно для самого себя понял, что идет зима, а крыша до сих пор не утеплена и в мастерской очень холодно. Явились мастера, завезли несколько лодок материалов, и работа закипела. На итальянский лад, разумеется. То электрик заглянет и, увидев, что Джанфранческо нет, картинно всплеснет руками и, изобразив страшное разочарование, поспежит ретироваться, дабы, не дай боже, с ним не встретиться. То молдавский мастер придет, почешет затылок и снова заведет заунывную песню Прикарпатья, смысл которой сводится к тому, что все очень долго, трудно и неизвестно, то ли плохие доски сначала отдирать, то ли, наоборот, сначала хорошие прибывать... Время от времени появляется и сам Джанфранко и начинает метаться по мастерской с таким видом, будто занят переустройством мира, однако в его хаотичных движениях едва ли можно уловить какой-то смысл. Я поспешила собрать свой нехитрый скарб (картинки, пластины, иголки) и перетащить все домой. Промаявшись все утро, я не нашла в себе силы создать ничего путного, и к моменту возвращения Роксаны и Саши из школы настроение было такое же отвратительное, как и погода, хотя местное предание гласит, что в день, когда святой Мартин сошел с коня и, разорвав свой плащ, поделился им с бедняком, немедленно показалось солнце. Но в нашем случае солнце сияло только на мордашках детей, которые ходили по окрестным лавкам, стуча в барабаны и крышки от кастрюлек, распевая калядки «Сан-Мартино–Сан-Мартино» и получая за это традиционные монетки. И еще солнце светило на рисунках детей, которые традиционно создаются в этот день во всех школах. В ближайшее воскресенье на Риальто под сводами рыбного рынка состоится традиционная выставка изображений Сан-Мартино и ярмарка хлебов. Народ будут потчевать глинтвейном и бутербродами, а мэрия наградит победителей-художников. Но пока рисунки остались в школе, где были сданы маэстро Пьеро, а желающих бить в кастрюльки под проливным дождем на пронизывающем ветру было немного, так что мы поплелись домой. Под вечер Сашик неожиданно вспомнила, что ей срочно нужна фотография 10 × 15, чтобы наклеить на вешалку в школе возле ее крючка. Как обычно, это открытие сопровождалось вздохами, охами, слезами, заламыванием рук и обильным поминанием страшной маэстры Эльзы, а также всевозможных кар, которые она обрушит на кудрявую голову нашей Саши в случае, если фотографий не окажется. Делать было нечего. Пришлось маме вооружиться зонтиком и отправиться во тьму искать, где можно было бы распечатать фотографию. Один центр фотопечати решили закрыть на полчаса раньше, в другом отключили свет... Повесив нос, я поплелась назад. День получился совсем плохой, и ни мостики, ни стрельчатые окошки, ни оранжевые фонари, прыгающие по воде, не могли его улучшить. Какая еще Венеция? Это обман, акварель, которую смыло первым же дождем... Я хочу домой... в Москву... Вдруг в толпе промелькнули знакомые московские лица. Нет, наверное, просто померещилось... Итальянские студенты. Пройдя еще несколько шагов, но, поравнявшись со школой, резко повернула назад и, повинувшись внутреннему голосу, бросилась в толпу, протискиваясь между зонтиками, пытаюсь отыскать знакомые спины. А вдруг? Неужели уже поздно? Все равно. Пусть померещилось. Пусть это окажутся двойники. Наконец уже у моста удалось их догнать. Пристроилась сзади, пытаюсь уловить сквозь шум шагов, гудение лодок, плеск воды и завывания ветра хотя бы одно слово. По-русски? По-итальянски? Ветер донес: «Академия»... Не самое удачное слово для определения языка, но вдруг... Окликаю по-русски... Оба оборачиваются. Не может быть! Ваня и Маня из Москвы, давние знакомые! Так вы и есть те русские гости, что должны были прийти в воскресенье к дону Маттео? И мы немедленно отправились к нам пить чай и радоваться удивительной встрече. Ваня сел за пианино. Саша пристроилась рядом. А на столе стояла оранжевая

лампа и светила теплым домашним светом. Так закончился День святого Мартина. Да, дети, я забыла сказать, что по дороге нам попала маленькая лавочка, где можно было распечатать фотографии, которые Зязик гордо потащила в школу.

А на следующий день на Риальто под сводами Пескерии (рыбного рынка XV века) Роксане торжественно вручили одну из медалей за лучший рисунок ко Дню Сан-Мартино. Представитель венецианского муниципалитета повесил ей на шею медаль и поднял ее на руки под громкие аплодисменты собравшихся и крики чаек. Это было полнейшей неожиданностью. Рисунки всех школ были вывешены по периметру Пескерии. Одноклассники подбегали и показывали Роксане, что на ее рисунке наклеен маленький зеленый кружочек. Мы вежливо кивали, и только папа Маргариты наконец объяснил мне: зеленый кружочек означает, что рисунок Роксаны отобран в победители. Вскоре на сцену вызвали и ее саму: «*Vambina della terza elementare – Roxana Kenjeeva!*»<sup>11</sup>

Бедный Пятачок! Она очень гордилась сестрой, но ведь и ее рисунок был выставлен на одном из стендов. Она крепилась-крепилась, но, когда увидела настоящую золотую медаль, не выдержала. Крупные слезы покатались по щекам прямо в ямочки: «Я же тоже раскрасила Сан-Мартино. И нарисовала коня! И плащ! И небо раскрасила всё-всё...» Мама прибегла к своему художественному авторитету, сказала, что на следующий год (хм-хм) Букашкины таланты точно будут оценены и, конечно же, небо у нее такое синее, какое ни у кого не получилось. Даже у ее соседа по парте Симоне. Да что там Симоне – Джотто позавидовал бы! Напрасно. Дело кончилось тем, что и Роксана, сойдя со сцены и увидев Сашины страдания, расплакалась и начала поскорей прятать медаль. Даже выданные всем детям традиционные сладости – кренделя в виде коня со всадником – оказались бессильны. В мою юбку уткнулись две плачущие девочки. Горечь русского менталитета не подсластить итальянскими *dolce*. В памяти всплыли недавно сказанные мне слова одного венецианского издателя. Он говорил так: «Вы, русские, и мы, итальянцы, очень похожи. Но вы не росли на солнце, вы проводите долгие месяцы в замороженной земле, и поэтому, даже когда приходит время урожая, в вас всегда чувствуется славянская горечь...» Мне всегда казалось, что идея конкурсов вообще вредна для детей, тем более для таких маленьких. Да и Роксана, едва утешившись, прошептала мне на ухо: «Что-то они не очень хорошо подумали – уж в первом-то классе могли бы всем давать медали». Но тут мне стало грустно. (Рассуждая так, я и сама оказалась носителем духа конкуренции. И неважно, что со знаком «минус»: «Если Евтушенко за колхозы, то я против».) Ведь никто из итальянских детей не плакал. Верятно, потому, что, в отличие и от Америки, и от России, итальянское общество – не конкурентное. Не то чтобы совсем свободное от этого – все-таки ничто человеческое... – но почти. Венеция слишком прекрасна, чтобы бегать по ней наперегонки. Здесь надо просто жить. Растить детей, ловить рыбу на солнышке и радоваться, если в сети к соседу заплывла какая-нибудь толстая *orata*, потому как в другой раз она приплывет к тебе. Вспоминается старинный анекдот. Два русских мастеровых напились, и один говорит другому: «Вань, вот я сейчас выпил и скажу тебе откровенно: работать ты не умеешь, и то, что ты делаешь, – полное дерьмо». Напились два итальянских ремесленника: «Марио, вот я сейчас выпил и скажу тебе откровенно: ты настоящий маэстро, и все, что ты делаешь, – *bellissimo!*»

Тем временем солнышко святого Мартина наконец выглянуло, и в Сашке тоже понемногу проглянул итальянский менталитет. Тем более Роксана всю дорогу только и рассказывала, что все подходили к ее, Сашиному, рисунку и говорили: «*Bellissimo!*» Она своими ушами слышала. Так что, когда мы пришли домой, Сашка первым делом радостно сообщила по телефону бабушке: «Знаешь! Роксане дали настоящую золотую медаль. А я там так редела!..»

Так закончилась эта неделя. Простите, если я утомила вас излишними подробностями. Жизнь в провинции у моря состоит из мелочей. Кроме того, в этом городе столько завитушек,

<sup>11</sup> «Третьеклассница Роксана Кенжеева!» (итал.).

резных окошек, пилястр и капителей, что поневоле начинаешь стилизоваться. Пока же я провожу вас в галерею, куда я наконец отнесла свои творения. Надеюсь, они украсят эти стены не очень надолго, потому как хотелось бы получить несколько сольдо и купить себе если не азбуку, то хотя бы еще пару резиновых сапог, чтобы члены семьи не были вынуждены, как сейчас, выходить на улицу по очереди.

День снова субботний, и по доброй традиции мы спешим доложить вам о жизни в уездном городе V. Утро по-прежнему начинается в семь часов с громких криков рабочих под окнами: «Ma-ario! Mario! Dai! Vieni su! Mario, dove sei?»<sup>12</sup> Иногда в проем окна, тая в рассветной дымке, всплывает массивная фигура какого-нибудь Марио или Джузеппе, который под предлогом ремонта с большим интересом наблюдает за нашей жизнью: сонная, я брожу по дому в ночной рубашке, Роксанка, словно на пружинке, стремглав вылетает из кровати в предвкушении утренних булочек докладывает, что работа на нашем отрезке канала закончилась. Леса с моста снимают. Ошеломленные, мы глянули в окно: под самым подоконником и вправду плескалась зеленая водичка. Водичка понемножку осваивается в своем законном русле, гранат висит на ветке, Роксана, что-то напевая, рисует, я уже вернулась с рыбного рынка Риальто, а Сашка мается и не знает, куда себя приткнуть. Может быть, уроки сделать?

Сашка у нас *super bravissima*<sup>13</sup>, о чем по очереди сообщают нам маэстра Эльза и маэстра Паола красной ручкой на полях ее тетрадок. Роксана тоже преуспевает. В частности, в математике. Учитель Пьеро, вдохновившись ее невероятными познаниями, попросил даже показать русский учебник, обещав отдать на следующий день. Судя по всему, одного дня ему не хватило на изучение в полном объеме теории множеств для третьего класса, и он с благодарностью вернул Роксане учебник лишь к выходным.

Как и вода за окнами, школьная жизнь не стоит на месте. Что ни день, то событие. То Масину подружку, которая еще настолько букашка, что ее все время хочется назвать не Фоской, а Москвой<sup>14</sup>, забыли забрать вовремя из школы, то грянула забастовка вапоретто, а во вторник – так и вовсе грядет забастовка учителей (посему приводить детей надо позже, а забирать раньше).

А в четверг у Сашки не будет уроков. Дети едут на экскурсию. Куда возят на экскурсию итальянских первоклассников? В виноградники души моей. Вот туда-то они и отправятся на целый день изучать процесс на месте. Лоза, вино и прочие премудрости для наших Пятачков не останутся набором абстрактных литературных ассоциаций, но обретут зримость, а со временем и вкус. Из виноградников, помимо поросячьих восторгов, были привезены кепка, пробка и этикетка для бутылки. Этикетка была прочитана самостоятельно с помощью букваря, который также снабжает юного читателя главными сведениями об итальянской жизни. Сашка увлеченно читает подписи к картинкам: на весь разворот схематично нарисован класс – доска, парты, карта, учительский стол, дверь, окно, стена – и подписано «lavagna, banco, cartina, cattedra, porta, finestra, muro». Все предельно графично, как чертеж, и только на прямоугольнике стены аккуратно выведены несколько трещинок. Какая же стена без трещин? Это то же самое, что утро без кофе или канал без воды...

На днях, собираясь в школу, Саша рассуждала о том, что она «так привыкла к Венеции, что даже забыла, как пишется буква „Н“ по-московски, но все-таки уже очень соскучилась без родины и без всех-всех-всех». После чего пустилась в воспоминания о раннем детстве и заявила, что «родилась в Доме творчества». Правда, боясь быть осмеянной Роксаной, поспешила поправиться: «Я все время путаю Дом творчества и родильный дом». Что ж, ничего удивительного. У меня иногда у самой ощущение, что своих девочек я родила в Доме творчества.

---

<sup>12</sup> «Ma-рио! Марио! Ну! Поднимайся! Марио, где ты?» (итал.)

<sup>13</sup> Молодчина (итал.).

<sup>14</sup> Итал. mosca – муха.

Рисуют вдохновенно. Делят карандаши. Сашка (громко и настойчиво): «Роксана! Ну, передай мне желтино!..»

Рисуя, Сашка задает множество вопросов, на которые трудно отвечать не столько из-за ограниченности набора ее исторических представлений, сколько из-за постановки самих вопросов. Сейчас ее бурно интересует понятие «враг». Кто это такие, откуда они берутся и как с ними обращаться... Договорились до фашизма. Сашка рассматривает карту:

– А до Москвы они дошли?

– Да, дошли.

– А кто их остановил? Хорошие?

– Э-э-э... да нет, тоже не очень.

– А, – вспоминает вдруг Зязя, – это те, которые все хотели делать нехорошо и взрывать церкви? Они не хотели, чтобы те, другие плохие, им мешали и вмешивались?

– Да, именно!

– Как это они ТАК совпали? – произнесла после некоторого размышления Пятачок, напялила пижамку и отправилась спать.

Дела мои тем временем продвигаются со скоростью вапоретто по Большому каналу. С пыхтением, сутолокой и остановками. Начало недели прошло под знаком поиска лака для покрытия досок. К среде удалось разрешить эту проблему, но на смену ей немедленно пришли другие... Описывать не буду. Наконец Джанфранко торжественно приступил к подготовке досок к травлению. В перерыве из случайно услышанного его краткого телефонного разговора с заказчиком я поняла, что проект путеводителя на грани провала. Остаток недели прошел во внутренних метаниях: как и на что нам жить дальше и как сделать так, чтобы дети не заметили моей паники и разверзающейся у нас под ногами финансовой ямы. Мною даже была предпринята довольно бесславно окончившаяся попытка купить обратный билет в Москву. На наше счастье, выяснилось, что билет отсюда можно купить только до Вены, да и то за баснословные деньги, а дальнейшее в представлении местных агентов путешествий теряется в таких глубоких российских снегах, что никакими средствами современной коммуникации недостижимо. Тут-то я взяла под мышку свои акварели и, зажмурившись, стала стучаться во все галереи. Мне повезло почти сразу. В одной из них на углу Кампо деи Фрари меня не только вспомнили по каким-то прошлым приездам, но и изъявили желание полюбоваться моими последними шедеврами. Закончилась эта встреча весьма приятным предложением пристроить мои каляки к ним на продажу и выделить под них отдельный уголок. Посмотрим, что из этого получится. Бог даст. И вправду – довольно для каждого дня...

Колокола бьют субботний полдень, и на этих позывных мы снова выходим в сырой эфир, подернутый розовой осенней дымкой. Зюзик сидит над уроками. Сашик тоже. Ей только что выдали новенький, желтенький, хрустящий учебник итальянского. Проходим букву S. В начале страницы большими буквами NESSUN SUONO (ни звука). Это бывает по утрам, и то редко. Напрасно пыталась я обмануть себя и детей, наглухо задраив ставни. Первый же утренний лучик с канала ловко проник в щель: А паппа по!<sup>15</sup> (это тоже из Машиного букваря). И в восемь часов мы уже ворочались и потягивались, а Сашка встретила субботнее утро радостным заявлением: «Ура! Завтра в школу!» Но завтра никто в школу не пойдет. По этому случаю мы понежились в постели, дочитали последнюю главу «Мэри Поппинс» и с томительным чувством закрыли книжку. Интересно, она вернется? Чтобы развеять тоску по улетевшей на карусели Мэри, Роксана быстро напялила штаны и, зажав в кулаке заветные монетки, поскакала за утренним хлебом и булочками.

Но вот булочки съедены, тарелки с ностальгической манной кашей вылизаны, и уже новый косой, как линейки в ее тетрадке по русскому, дождик за окном пишет какой-то оче-

<sup>15</sup> Баиньки – ну нет! (итал.)

редной диктант в своей собственной зеленой водяной тетрадке, тихонько выговаривая слова по слогам себе под нос. То ли по-русски, то ли по-итальянски – не разобрать. Саше повезло. На этой неделе у нее появилась собственная тетрадка по математике с пандой на обложке, где аккуратно выведено Сашкиной лапкой: «Quaderno di matematica». С понятным родительским любопытством я открыла тетрадь. На первой странице нарисованы большой черный крест и вазочка с цветами и написано «Il 2 novembre. Venezia. Si ricordano i morti»<sup>16</sup>. Внизу красной учительской ручкой подписано «superbravissima». Со следующей страницы уже привычным школьным строем идут ряды палочек, единичек, квадратиков и прочая строевая математика для первого класса. Казалось бы, мелочь, но в поминовении умерших на страницах тетради по арифметике мне видится нечто большее, чем трогательная провинциальность и дань традиции. В этом средневековом городе сохранилось что-то от средневековой цельности сознания – утерянное современностью ощущение цельности мира, единства вещей, людей и событий. Математика математикой, но она не существует сама по себе, если сегодня День всех святых, повсюду звонят колокола, и 1 и 2 ноября каждые десять минут от причала на Фондамента Нуове отходят бесплатные вапоретто (хароны в этот день драхм не берут, причем, в нарушение всех правил, в обратную сторону тоже), увозят старичков и старушек с детьми, внуками и огромными охапками цветов в сторону Сан-Микеле.

Вынужденная неделя дома была посвящена различным починкам. Стиральную машину затопило высокой водой, и посему стирать она напрочь отказалась. Вчера наконец явились два долгожданных мастера. Возле огромного ренессансного окна-бифоры, украшающего нашу гостиную, крутился диск: Горовиц – Моцарт. Рабочие возились рядом в кухне, переговариваясь исключительно на венецианском диалекте.

– Хе sesta musica? Vivaldi?<sup>17</sup> – спросил один из них, обращаясь к напарнику.

– Mozart, scemo<sup>18</sup>, – отозвался другой.

– Mi ga sbaglia mi<sup>19</sup>.

– Anche mi ga gia dimentica tutto che studia al Conservatorio da putteo<sup>20</sup>, – посетовал седоусый слесарь и вновь углубился в недра нашей стиральной машины.

---

<sup>16</sup> «2 ноября. Венеция. День поминовения усопших» (итал.).

<sup>17</sup> Что-то я не узнаю музыку. Это Вивальди? (итал.)

<sup>18</sup> Моцарт, дурак (итал.).

<sup>19</sup> Ну, ошибся (итал., венецианский диалект).

<sup>20</sup> Да и я уже все забыл, что в консерватории учил мальчиком (итал., венецианский диалект).

## Глава четвертая Возвращение

Полуоткрытая дверь в сад. Недоговоренная фраза. Случайно промелькнувший в окне отблеск канала. И по привычке все еще пытаешься сформулировать, подвести итог, обобщить, сделать вывод, но проходят дни и недели, а писать становится все труднее.

Весточки наши все более напоминают чаек, которые вдруг взлетают с церкви Джезуати на Дзаттере, а до этого почти неотделимы от беломраморных капителей, завитушек, почерневших по краям, как крылья этих самых чаек. И сама жизнь под окошками несет свои зеленоватые воды, а где там «аш-два», а где «о», различить невозможно. Все труднее отделить колокольный звон по утрам от треньканья будильника (всё по минутам: будильник в 7:11 – открываем глаза, колокола на Сан-Себастьяно в 7:23 – пора вставать, половину бьют колокола на Кармини – уже даже Саша проснулась; восемь ударов – Роксана со школьной сумкой в лапках стрелой вылетает из дома, а Сашка начинает охать, что сейчас опоздает, и неторопливо напяливает розовые ботиночки). Всё привычней лица, попадающиеся навстречу на Калле Лунга. Все непонятнее нам самим, из каких трещин в стенках, черточек на воде, мордочек, которые строят девочки, из привычных? случайных? встреч на мостах, из... В общем, из чего только не сделана эта наша жизнь.

Ну куда сегодня пойти с тобою?  
Ветерок сентябрьский осушит слезы.  
Пробегают облачком над Москвою  
акварельный вздох итальянской прозы,  
и не верит город слезам, каналья,  
и твердит себе: «не учи ученых»,  
и глядит то с гневом, а то с печалью  
из норы, оскалась, что твой волчонок.

Проплывем дворами, за разговором,  
обрывая сердце на полуслове,  
и навряд ли вспомним про римский форум,  
где земля в разливах невинной крови,  
и забудем кубок с цыганским ядом —  
кто же ищет чести в своей отчизне.  
Ты вздохнешь «Венеция». Только я там  
не бывал – ну разве что в прошлой жизни,

брюхом кверху лежа, «какая лажа! —  
повторял весь день, – чтоб вам пусто было!»,  
а под утро, когда засыпала стража,  
подлезал под крышу тюрьмы Пьомбино  
разбирать свинцовую черепицу.  
Даже зверю хочется выть на воле.  
«Много спишь». «А некуда торопиться».  
«Поглядел в окно, почитал бы, что ли».

Ах, как город сжался под львиной лапой,  
до чего обильно усеян битым

хрусталем и мрамором. Пахнет граппой  
изо всех щелей. За небесным ситом  
хляби сонные. Лодка по Малой Бронной  
чуть скользит. Вода подошла к порогу.  
Утомленный долгою обороной,  
я впадаю в детство. И слава Богу.

*Бахыт Кенжеев*

В трудах, походах в галерею, школу и мастерскую время проходит совершенно незаметно. Завтрак, обед. Глядь, а в доме напротив снова выглянула из-за ставней старушка и начала вытряхивать скатерть. На этот раз белую. Не иначе как *Biancaneve*<sup>21</sup>, сестрица осенней Неббии, ибо сразу вслед за ее появлением в окне пошел крупными хлопьями снег.

Зрелище было фантастическое. В несколько минут побелело все. Город стал еще больше походить на раскрытую детскую книжку. Под непривычной тяжестью гранатовое дерево склонилось над столом в саду, пытаюсь прочесть что-то на белоснежной его поверхности. (Или, может быть, написать свое субботнее послание?) Закутавшись во что попало, я выскочила на секунду добежать до мастерской и столкнулась со скрипичных дел мастером, который спешил в свою. Мы поприветствовали друг друга сквозь пургу и разбежались в разные стороны.

Вечером перед сном Сашка неожиданно вспомнила, что (ха-ха!) у них в школе начинается экспериментальная посевная и маэстра Эльза велела принести горшок с землей, а также *fagioli* (то есть фасоль). Роксана заверила Сашку, что горшок стоит в саду; что до фасоли, то я пообещала купить ее в ближайшей лавке. Но к вечеру снег пошел сильнее, и Сашка осталась на бобах.

Глядя в окно, она возмущенно сетовала:

– Маэстра сказала принести горшок с terra, а в giardino только neve<sup>22</sup>!!!

Бедный Сашик! Даже ночью она вдруг, дико вращая глазами, но при этом даже не просыпаясь, изрекла из-под розового одеяла:

– *Portate i fagioli!*<sup>23</sup>

Все, однако, окончилось не так драматично. На следующее утро в ответ на мой апологетический лепет маэстра Эльза заверила, что ничего еще приносить не надо: они просто обсуждали этот проект в классе, но, пока родители не получили в письменном виде меморандум о том, что надо что-то принести, можно это даже не брать в голову. Ответственная Сашка, как водится, приняла обсуждение за руководство к немедленному действию.

Прошло два дня, а снег все еще не стаял. Днем выглядывает солнышко, над мостовой поднимается пар от тающих сугробов, но клочья снега все еще ютятся в проулках, на дне лодок, в закоулках и на ступеньках церквей – там, куда не ступала нога туриста. Таких мест немало. В Венеции невозможно ориентироваться геометрически – просто проецируя в голове схему улиц, по которым перемещаешься. Тут можно или бездумно плыть, или идти без всякого представления о маршруте, повинувшись какому-то звериному чутью, петляя, кружа, и все-таки попадать именно туда, куда нужно. Или же парить, как птица. Эту возможность неожиданно подарила работа над эскизами для нового офорта на колокольне монастыря Сан-Джорджио у друзей-бенедиктинцев. Город тонул в солнечной дымке. Внизу деловито сновали катера и вапоретто. Тень колокольни качалась на поверхности канала Джудекки и казалась сотканной из воды и молочного света. И глядя с высоты колокольни на события, торчащие из лабиринта черепичных дней, скользя взглядом по месяцам и неделям, глаз невольно остановился

<sup>21</sup> Белоснежка (итал.).

<sup>22</sup> Земля... сад... снег (итал.).

<sup>23</sup> Принесите фасоль! (итал.)

на возвышающемся надо всем зеленым острие колокольни Сан-Марко, увенчанном золотым ангелом... Ну конечно! Это елка! Скоро Рождество. Догорает третья свеча Адвента. На Санто-Стефано раскинулся огромный предрождественский рынок со всякой всячиной, а в витринах лавочек – от табакерии до магазина тканей – красуются вертепы, идут пастухи, овечки, горят очаги, текут ручейки и почему-то крутятся мельницы (наверное, так проявляется местное пристрастие к воде). Детям после мессы выдали маленькие копилочки с надписью CARITAS, в которые они исправно складывают монетки, дабы к Рождеству сложить все накопленное и пустить на какое-то хорошее дело для бедных. А хор чаек на Санта-Маргерите возвещает *Na-ta-a-le, Na-ta-a-le*.

Сквозь зимнюю дымку над городом разносится колокольный звон. Бар на углу, где продаются субботние булочки, закрылся на каникулы. Заканчиваются и ставшие уже привычными, как эти булочки, наши субботние послания. Мы выходим в наш последний в этом году эфир. Он тихонько покачивает гранат в саду, перебирает листики прошедших венецианских дней, а неизменные субботние рабочие за окном продолжают, но уже совсем тихо, отстукивать события минувших месяцев. Что сказать о них? Они оказались длинными. Они оказались полными. Из срока они превратились в жизнь. Вчера к дому напротив причалила лодка «*Trasporti e traslochi*»<sup>24</sup>. А значит, все готово. Пора собираться. Закрывать ставни, книжки, чемоданы и рты. До нового учебного года.

А сейчас – с Рождеством!

Подарки разобраны. Роксана прикорнула в уголке собственной кровати, целиком занятой куклами и мягкими собаками.

– Зачем ты всех запихнула в кровать?

– Праздник сегодня. Все вместе будем спать, – отрезает Роксана и немедленно засыпает.

Ну а Зязя? Правильно, угадали. Саша села под желтую лампу и занялась любимым делом... Саша делает уроки...

И дабы не отставать от своей дочери, сяду и я под желтую лампу, чтобы написать на рассвете эту рождественскую открытку.

*Magnificat*. Месса подходит к концу. *Andate in pace e glorificate il Signore con la vostra vita*<sup>25</sup>.

Все поздравляют друг друга.

– *Buon Natale, Sasha! Come va col violino?*<sup>26</sup>

Это продавец табачной лавки на Сан-Барнабе.

И тут же, обращаясь к владельцу лавки канцтоваров, с такой гордостью, будто речь идет о его собственной дочери, продолжает:

– А ты знаешь, что эта *bambina superbravissima*? Она выиграла стипендию в музыкальной школе!!!

(Это чистая правда, Сашок действительно была торжественно объявлена в списке награжденных на рождественском концерте в Санта-Мария Формоза, хотя для меня загадка, чем именно она отличилась, ибо извлекать из своей скрипочки она по-прежнему умеет три с половиной звука.)

– А, Роксана! Саша! *Buon Natale! Tanti auguri!*<sup>27</sup>

Это старушка из магазина кружев на Калле Лунга.

А вот и Учительница. Доктор. Булочник. Рыжебородый таксист...

---

<sup>24</sup> «Перевозки и переезды» (итал.).

<sup>25</sup> Ступайте с миром и жизнью вашей прославляйте Господа (итал.)

<sup>26</sup> С Рождеством, Саша! Как дела со скрипкой? (итал.)

<sup>27</sup> С Рождеством! Поздравляем! (итал.)

У всякого, кто впервые едет по Италии на поезде и смотрит, как за окнами бегут холмы, пинии и маленькие городки, возникает неизбежное ощущение дежавю: словно и вправду именно это он видел раньше, а теперь лишь узнаёт знакомые пейзажи. Эффект этот особенно силен в Тоскане и в Умбрии. Секрет иллюзии прост: художники итальянского Возрождения ничего не придумывали. Они просто честно переносили на холст то, что отпечатывалась у них на сетчатке. Так и тут. Словно в детской книжке, на Рождество все персонажи наконец собираются вместе. Мелькают знакомые лица окрестных улиц: воплощение маленького уютного мира детства.

Когда мы начинали наши выпуски, мы, разумеется, не могли предугадать, как слово наше отзовется. Да, честно говоря, мы совершенно об этом не думали. И вот уже младшая школьница Роксана (Роксана!) жалобно говорит: «Я так хочу в Москву и так не хочу уезжать из Венеции. Мы ведь вернемся всюду?»

Конечно. И снова будем бежать по Калле Лунга вприпрыжку в школу, заглядывать в скрипичную мастерскую и пить кофе на Санта-Маргарита или чай у нас дома, вслушиваться в колокола и писать в тетрадке корявыми лапками «Venezia. Oggi и lunedì»<sup>28</sup>. Вернутся сюда с нами ли / с нами ли все, кто хоть однажды здесь побывал, и даже те, кто не бывал вовсе. Потому что есть в этой болезни одна особенность. Она неизлечима, как заметил поэт. Сродни любви: что-то совершенно реальное и в то же время бесконечно недостижимое. И уж точно не поддающееся описанию. Остается просто следовать за ней, растворяться в ее дымке, отражаться в канале, отбрасывать тени на шелушащиеся фасады, засыпать и просыпаться под плеск воды, пока за окном зима сменяется весной, а весна – летом, и знать, что в конце концов площади-комнаты и калле-коридоры приведут домой, а Калле Лунга плавно переходит в Столешников переулок... Или это я задремала?

Звание венецианцев действительно приросло к нам куда быстрее, чем мы сами думали, и вот уже мы званы в палаццо на Большом канале, где росписи Тьеполо на потолке напоминают о том, что искусство знавало лучшие времена, а дамы в соболях и господа во фраках с удивлением косятся на двух маленьких девочек, задремавших в фамильных креслах хозяев. Ветер укачивает их постукиванием гондол внизу у причала. Пропыхтит вапоретто. Пронесется моторка. И снова тихо. Только где-то вдали на колокольне отобьет девять месяцев нашей венецианской жизни. Девять месяцев – правильный срок. Что-то родное, но еще невидимое шевелится в темноте Большого канала. Звезды и фонари прыгают на воде. На глубине ходят рыбы. А девочки спят. Тихо-тихо. Сейчас потухнут люстры во дворцах, закроют ставни, дамы и господа разойдутся, затихнет музыка. Надо разбудить девочек. Пора домой.

Все, кто провожал нас тогда в сентябре на длинном темном перроне Белорусского вокзала, помнит, как трудно было уезжать из Москвы. Я всерьез думала не уезжать вовсе. Но поезд заглотил нас и повез, не спрашивая. И привез туда, где мы и не чаяли оказаться. И довольно быстро стало ясно: то, что мы считали отъездом, оказалось возвращением. Все просто. Просто... нету разлук. Существует огромная встреча...

Прошло сто лет.

И я люблю тебя не меньше.

Я люблю твои очертания. Я люблю, как солнце падает на твои шероховатые соленые стены. Я люблю трогать тебя. Я люблю, когда под пальцами опадает штукатурка, обнажая кристаллики соли. Я люблю тебя на вкус. Я люблю твой ветер, который колышет белье. Я люблю тени. Особенно тени на воде. Я люблю твое отражение, когда ты морщишься (рябь) и качаешь головой (лодками). Я люблю заглядывать в случайно приоткрытую дверь и видеть угол твоего внутреннего сада. Я люблю смотреть на дно твоих зеленых глаз и видеть в них отражения стрельчатых арок окон и отсвет воды, перебирающей нити света. Я люблю засыпать у тебя на

---

<sup>28</sup> «Венеция. Сегодня понедельник» (итал.).

руках. Я люблю слушать тебя сквозь утреннюю дымку и предрассветные крики чаек. Когда мы просыпаемся, мы снова вместе. Я люблю запах нашего утреннего кофе и позвякивание белых чашек в баре на углу. Я узнала тебя не здесь, но ты уже ждешь меня тут. Я не думала, что ты так покорно следуешь за мной в моих скитаниях. Я думала, я потеряла тебя. Я думала, мы больше не встретимся. Я боялась не узнать тебя в лицо, не расслышать своего имени в толпе туристов на мосту. Мне ведь было так мало лет, когда мы познакомились. Девочка. А сейчас ты терпеливо ждешь, когда я, совсем как положено настоящей синьоре, поздороваюсь с графиней Лореданой и ее фокстерьером, с альтисткой Сильвией, которая будет божиться, что завтра уж точно зайдет посмотреть мою выставку, с отцом Кьяры из нашего прихода, с соседом-галеристом. Тебя не раздражает, что мне нужно обязательно сунуть нос в коляску с малышкой Клаудией и обсудить с ее мамашей новый спектакль в «Ля Фениче», в котором осенью будут петь в хоре ее старший Людовико и моя Зязя. (Говорят, действие кончается поздно, да еще потом от грима отмываться, а назавтра в школу.) А с маэстрой Эльзой, скажу вам, шутки плохи. Арию, кстати, я знаю наизусть – Сашенька поет ее целыми днями за уроками, в душе, в саду, поет себе под нос, поет, когда вприпрыжку скачет по нашей улочке (*Per te-e-e, per te-e-e*<sup>29</sup>) в школу. И ее же напевает себе под нос перед тем, как завернуть за угол, перейти людную площадь и оказаться в консерватории. Я ведь говорила тебе, что она учится играть на скрипке? Уже перешла на три четверти. На днях долго любовно выбирала и пробовала новый инструмент, а наш скрипичный мастер рассказывал своим любимицам о дереве, о струнах, о секретах старинного кременского мастерства. Девочки виртуозно поддерживали разговор, делясь соображениями о том, что свеженатянутые струны дают слишком яркий звук и что старый инструмент без употребления уже не может петь и тускнеет, а затем в нужный момент так же виртуозно завершили его и усвистали с подружками есть пиццу.

Звонят к вечерней мессе. Соседка громко жалуется соседке, что кто-то опять выставляет помойку прямо в калле и из-за этого ночью под окнами шныряют крысы. Хотя, по-моему, это чайки растаскивают пакеты уже под утро. Ты не против, если я сяду немного порисовать? Хоть несколько акварелей нужно отнести к выходным в галерею, иначе останемся без денег, а каникулы уже на носу, да еще счета за газ и электричество вот-вот придут. Давай выйдем в сад. Я сяду за стол и буду рисовать. Мы все равно сможем разговаривать. Даже лучше. Я проведу кисточкой по бумаге, потом сделаю несколько привычных движений и в миллионный раз замру, глядя, как краски растекаются по влажной бумаге, как расцветает пятно за пятном, как они тянутся к друг другу, сливаясь... Признаться, мне уже порядком надоело рисовать венецианские акварели, но зато никаких (ну почти никаких!) художественных амбиций – рисуешь, будто за молоком идешь. Да и продаются хорошо. А кроме того, рукам и глазу нужно упражнение. Никогда не знаешь – вдруг наступит тот день, когда я смогу нарисовать белую птицу?

Я точно знаю, какой бы она была: она вырывалась бы из поверхности белого загрунтованного квадрата. Ее крылья напоминали бы очертания крыла Ники. Но она никуда не улетала бы. Она только прислушивалась бы к ветру, вдыхала его, вздымалась и колыхалась в такт, как белье на веревке. Повинуясь порыву, она могла бы взлететь, но оставалась там, где была. Прищепки пока не отпускали. Я хотела бы нарисовать такую птицу. Я назвала бы ее – ее собственным именем – *Anima Mea*. Ведь еще совсем немного, и она взмыла бы вверх и парила б над городом. Ветер наполнял бы ее крылья, как тогда, когда мы шли под парусом. Мой белый лист – это парус.

Помнишь, как все было солоно? Одежда, волосы, сандалии. Как мы мчались по лагуне на лодке, петляя между сваями, чтобы успеть в *santiere*<sup>30</sup> до захода солнца. Дети визжали, рваные клочья облаков все отчетливей темнели над лагуной. Потом из-за горизонта показалась

<sup>29</sup> Для тебя (итал.).

<sup>30</sup> Верфь (итал.).

полоска города. Выросли колокольни. На закатном небе нарисовалась луна. Вода захлестывала лодку, и дети визжали еще громче.

– *Sembra che siamo in un film e dobbiamo arrivare prima del tramonto*<sup>31</sup>, – сказала Саша.

– *Siamo in un film*<sup>32</sup>, – отозвался владелец лодки, одной рукой крепко прижимая маленькую Рейчел в желтом плаще, а другой обнимая Роксану и Сашу.

– А почему у тебя сердце бьется справа? – спросила она.

– Просто у меня два сердца, – легко ответил писатель.

---

<sup>31</sup> Кажется, что мы в фильме и должны успеть вернуться до захода солнца (итал.).

<sup>32</sup> Мы и есть в кино (итал.).

## **Часть вторая Точка побега**

### **Глава первая Хлеба и рыбы**

Автобус из Риги мчался, набирая скорость. Уютный икарус с мягкими креслами. Когда-то в советской Латвии он казался пришельцем из иного мира – воплощением западного комфорта. Сейчас же выглядел скорее слегка обшарпанной декорацией к фильму Кеслёвского. Публика – тоже. У нас было время присмотреться. Мы пришли на вокзал заранее, купили билеты и расположились ближе к хвосту автобуса, напротив второй двери. Через проход у окошка уже сидела юная крашеная блондинка в мини-платьце, держа на коленях корзинку с белым котиком. «Сошла с конфетной коробки», – отметила про себя. Тема коробок не замедлила получить развитие. В салон вошел долговязый парень в обнимку с новой коробкой Samsung. Картина «Хуторянин возвращается к жене с последним словом техники», – продолжала комментировать про себя. Становилось уже почти интересно. «Не думать, только не думать пока, – одновременно твердила себе. – Будь там, где ты есть. Не бери. Дай осесть. Смотри. Слушай. Видишь, какое интересное кино тебе опять показывают. Что твой „Декалог“». Автобус продолжал заполняться. Хуторяне и дачники, пожилые горожане, подростки, работяги, коренастые тетки, крепкие деревенские мужики, крашеная блондинка, старик с испытанным лицом. За минуту до отхода в салон ввалился еще один персонаж. На вид ему было лет пятьдесят. Бомжеватого вида, коротко стриженный, в толстых очках, одутловатый, в какой-то нелепой майке, весь обвешанный пакетами и тюками, он решительно двинулся вглубь автобуса и плюхнулся рядом с блондинкой и котиком, заняв полтора кресла, так что кресла заскрипели, а блондинка вжалась в окно, крепко прижав к себе мяукающую корзинку. За руль под многообещающей надписью «Wagenführer» уселся коренастый водитель, и автобус тронулся. Не успели отъехать, как персонаж, оказавшийся при ближайшем рассмотрении женщиной, стал вещать на чистейшем русском языке:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.